

РАУЛЬ РУИС

В ПОИСКАХ ОСТРОВА СОКРОВИЩ

**«...И заново рассказать
легенды старины седые
так, как слагались они
во времена былые».**

Р.Л.Стивенсон

(Предисловие к испанскому изданию
«Острова Сокровищ»)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Я португалец. Уже давным-давно я не говорю на родном языке и горжусь этим, хотя так до сих пор и не могу сказать двух слов ни на каком другом. То есть, чувствую я себя вдвойне португальцем. Если честно, я мог бы изъясняться по-французски, но, побывав в Испании, кажется, совсем утратил дар речи, и потому эти воспоминания, написанные на «lengua franca», был вынужден поручить перевести моей подруге из Барселоны (все зовут ее «француженкой»), коль скоро «Пеликан» все равно временно закрыт. И быть может, благодаря сезону дождей – сколько веков не было его в моей жизни! – кое-какие подробности, забытые за более яркими (смею сказать) событиями, всплывают, точно утопленники, из прошлого. Я так и сказал: «прошлое». Именно это слово пришло мне на ум в эту самую минуту. Я слышу голос «француженки», она зовет меня. Я вижу ее в конце аллеи: за столом, освещенным «а gíorno» керосиновой лампой, с карандашом в руке, над тетрадью в клеточку, она готова записать по-французски мои многоязычные воспоминания. Я слушаю гром; кричат во дворе мои дети; я закрываю глаза и чувствую: сейчас хлынет ливень. И я сажусь в гамак и вызываю из памяти образы прошлого. Но внезапно это слово – «прошлое» – заслоняет все. Да. «Прошлое», – произношу я вслух, и образы, былые и нынешние, меркнут, и только властный голос гостя звучит у меня в голове.

Я снова слышу: «Прошлое». Да. Это говорю я:

– *En los nidos de antano no hay pajaros hagano.*

Стук кулака по стойке бара и голос гостя:

– Прошлое – это сейчас, сударь...

– *Coutinho...*

По-английски, да, они говорили по-английски, мой отец и гость говорили на языке, запрещенном моей матерью. Была непроглядная ночь. В дальнем углу бара отец и гость беседовали за рюмкой водки. Кажется, в первый раз я видел отца пьяным. В первый и последний раз.

– Иди сюда, – позвал он. – Это мой сын.

– Вижу, – кивнул гость. – Хорошо спал, малыш?

– Он засыпает где угодно, только не в своей кровати.

– Отлично. Вот настоящий флибустьер, – сказал мне гость, – не правда ли, сударыня?

И тут я увидел мать. Как? Она все это время была здесь и ничего не сказала? Нет, сейчас-то она, конечно, не смолчит, ведь именно так она заставляла себя любить. Я посмотрел на отца. Вот так сюрприз! Он ее в упор не видел. Черт побери! Это он-то, трус из трусов, запросто беседовал с незнакомцем, да еще по-английски.

И тут я понял, что моя мать оцепенела от ужаса. Она шевельнуться не могла. Она увидела нечто необычайное. Сколько? Две тысячи, нет, три тысячи долларов. Я помню, пачки были рассыпаны по полу, и безмянный кот играл с ними...

В этот миг ветер ворвался в дом, и нас окутала тьма. Я понял, что мать ощупью идет на кухню за спичками. А гость уже поджег пятидолларовую банкноту и направился к туалету.

– Чьи это деньги? – шепотом спросила мать.

– Наши, – равнодушно отозвался отец.

Минуту-другую мы слышали пение гостя. Потом он возвратился. Это был теперь совсем другой человек. Бледный. Улыбающийся. Суровый, как Новый завет.

– Да, – сказал он. – Прошлое – это сейчас.

А потом, обращаясь к моей матери:

– Мое почтение, сударыня.

И еще, по-французски:

– Как жаль, сударыня, какое огорчение.

В ту ночь я так и не смог уснуть. Гость в своей комнате не ложился. Он расхаживал взад и вперед и громко разговаривал сам с собой. Тогда впервые я услышал, как был упомянут «глаз». И еще – «орел». Что это такое – глаз? Кто это такой? Это был друг, предатель, человек из общества. А что такое орел? Это организация такая, банда. Много позже, слишком поздно я понял, что глаз и орел – это одно и то же и один человек.

Два часа пробило, три часа, а гость все продолжал свой монолог. Временами он умолкал. Иногда пел. Обо что-то стучался, взывал. Он в буквальном смысле слова «убивал время».

Но к чему оттягивать мучительное признание? Речь идет о моей матери. В самом деле, о моей матери и незнакомце. Она была там, она хотела все знать. О деньгах, конечно, но и о других вещах тоже. Вот и я захотел все услышать, все увидеть. Из комнаты этажом выше это возможно. Если повезет, я поднимусь по лестнице, не наделав шума, и – «увиджу». Была бы Божья щелка – и я все узнаю. Я не должен забывать о Божьих щелках. Только в одно я свято верю по сей день – вот во что:

«Там, где что-то происходит, там, где решается твоя судьба, всегда есть щелка, которая поможет тебе все узнать и все увидеть в свое время».

Я так и сказал: «в свое время».

Я поднимался по лестнице. Что за глупость была – дать каждой ступеньке имя. Мужское, женское. Пьер, Пола, Андре, Мария. Да еще и назначить цену. Три, пять, десять, восемь. Двадцать две ступеньки стоили вечности, целой жизни стоили они. И все-таки мой отец проснулся. Теперь и он был здесь. Он запалил не банкноту, а тетрадь. Я узнал ее: это была бухгалтерская книга гостиницы. И это

отец, всегда считавший каждый грош. Взял и все сжег. А потом – что же он мне устроил, Господи! Надолго предстояло мне это запомнить. Но что я мог понять? Я не мог отвернуться от этого зрелища, такого, увы, невнятного. От скольких бесполезных объяснений избавила нас в дальнейшем неминуемая смерть отца! А что же я? А мне тем временем Божья щелка открыла суть приключения, ожидавшего меня – один, два, три, двадцать два раза в жизни. Да, это правда, речь пойдет о моем приключении, единственном, о котором я должен поведать детям, моим детям, здесь, в Богом забытой деревушке на экваторе.

Да. Мне не след рассказывать сказки. Хочется, чтобы жизнь моя, несмотря ни на что, была примером в назидание.

И все же я должен это сказать. В тот вечер я кое-что понял – и прожил целую жизнь. Я скажу, что увидел тогда в Божью щелку: книгу в окружении неких предметов. Ладно, чтобы больше к этому не возвращаться: это были стеклянные шарики. В общем, тот самый глаз, о котором упоминал гость в своем монологе. Я видел книгу и дюжину глаз – рассыпанные по полу, как игральные кости, они зорко следили за мной.

Наутро этажом ниже громко храпели. Я первым поднялся открыть ресторан. К полудню ждали автобус с туристами, на сей раз немецкими. Шел дождь, как всегда в этих краях. Было холодно. Кто бы мог подумать, в тропиках! Я почитал своим долгом, спрятавшись в со знанием дела выбранном месте, слушать жалобы:

– О Боже, в тропиках – и дождь!

– Даже снег, смотрите!

А вы как думали? Впору было пожалеть этих туристов из северных стран, столкнувшихся с нашей зимой.

– В тропиках бывают холода, сударыня, а как же. И снег идет в тропиках, а вы как думали?

В те далекие времена мы забавлялись как могли. Но вернемся к туристам того дня. Трое слуг суетились вовсю. Они кричали «караул», сами не слишком в это веря. Часов в одиннадцать пожаловала мать. Она сияла. Держалась госпожой, улыбалась всем. Мне первому. Даже ничем не выдала своего удивления при виде меня. В других обстоятельствах она хотя бы для виду сразу же спросила бы:

– Как, ты не пошел в школу?

К чему? Она прекрасно знала, что в школу я больше не пойду никогда. Она уже это знала.

С туристами все прошло как нельзя лучше. Я показал им пещеры, старый порт, дорогу никуда. Я знал, что говорить и знал, как может позабавить моя речь людей образованных. Почти всегда находился кто-нибудь, кто брал меня под крыло, – старая дама или парочка молодоженов. На сей раз в этой роли выступил пожилой господин. Все почему-то смотрели на него с любопытством. Я долго не мог понять, что он слепой. Он так нарочито отставал от группы и делал вид, будто ему интересно только то, что далеко, очень далеко. А потом его и вовсе потерял из виду. Гид встревожился.

– Слепые приносят беду, – вздохнул он.

Он знал, что говорит. Его отец был слеп, и ему это дорого стоило.

Темнело, а слепой все не объявлялся. И затягивались же иной раз шутки этих туристов! Фонарей, они требовали фонарей! И жандармов!

– Минуточку, вы не у себя дома!

– Немного терпения, пожалуйста.

Отец суетился, он обрел свою стихию в несчастье ближнего. Пропал слепой. Пришлось звонить в полицию десять раз, не меньше. Отправили машину за рыбаками. В общем, зашевелились, я был доволен. Звонить-то могли хоть в армию, хоть в пожарную команду, все равно я один знал побережье как свои пять пальцев, мог с закрытыми глазами обшарить все заповедные зоны. Те, где «пело». Ужин пришлось готовить на всех. Туристы хранили гробовое молчание. Им хотелось разгадать загадку свиста. Надо сказать, в тот вечер «земляки» разошлись вовсю. Трудно было понять, где кончаются причитания рыбацких жен и начинаются серенады пещер.

Жандармы прибыли перед самым ужином. Они долго беседовали с отцом.

– Есть у кого-нибудь фотография слепого?

Да, теперь его только так и называли – «слепой». Я ни во что не вмешивался – ждал. Потом поднялся к себе, меня сморило, и я раз в кои-то веки уснул в своей кровати.

Не знаю, сколько времени прошло; разбудил меня ветер. Кто-то отворил окно.

– Ты уже выспался, малыш. Ты же знаешь, нехорошо спать днем. Придет ночь, а у тебя сна ни в одном глазу, верно?

Незнакомец курил трубку и смотрел в окно на берег.

– Ищут, все ищут. Как по-твоему, что могло случиться с нашим слепым?

– С вашим слепым? – не удержавшись, переспросил я.

Он усмехнулся:

– Экий ты быстрый, малыш, – и встал.

– Знаешь, сдается мне, что тебе и вправду пора уснуть, только уж уснуть по-настоящему. Ты когда-нибудь спал «по-настоящему»?

И уже он душил меня своим носовым платком, из которого, почудилось мне, выпал стеклянный глаз. Я рванулся в последнем усилии. Но грезы уже неслись во весь опор к нашим берегам.

Я долго не мог понять, что этот визг, к которому подошло бы искаженное страхом лицо старой английской дамы, был ничем иным, как смехом моего отца. Он хохотал, хохотал. Туристы уезжали. Незнакомец пил в углу бара. Я видел: он караулит меня. Он и моя мать. Они были как-то связаны через меня. Теперь-то я знаю, что такое эфир, но тогда меня это раздражало. Я был будто в вате, еле передвигая ноги, нащупывал одну за другой мои ступеньки. Они скрипели, да, но как изменилось все! Все теперь скрипело.

– Его нашли.

Отец опять захохотал. На этот раз он смеялся по-настоящему. Преувеличенно громко.

– Замолчи, старина! – нахмурился незнакомец.

– Вот еще! Вот еще! – фыркнул отец.

– Иди сюда, – позвала мать.
И принялась вытирать пятна крови.

Он был в бинтах. Он кровоточил, а рука его тем временем делала воздушные жесты. Безо всякого стыда она вспархивала так и сяк, манерничала. А уж смех...

– Замолчи, не то опять получишь.
– Ради бога! – взмолилась мать. – Мальчик здесь.
– Мне-то что с того, – отвечал на это незнакомец.
– Уйди, – попросила мать.

– Нет, пусть останется, – возразил отец. – Пусть непременно останется. Все это падет на него, разве не так? Он станет последней жертвой. Зачем же скрывать от него правду?

– Какую правду? Правды в этой истории нет, – произнес незнакомец.
– Да ну? А я-то думал, что правда – вот она, – сказал отец. – Вот и говори после этого, что правда-истина не слепа.

Незнакомец ударил отца. Я отвернулся и убежал со всех ног. Бежал я долго. Остановился только на берегу. А рыбаки-то были еще там. Оно и понятно. Хоть на что-то пригодились все эти огни.

Я узнал Васко. Склонившись над водой, он выслеживал рыб с электрическим фонарем.

– Иди сюда, – сказал он мне. – Хочешь?
И показал лучшего краба из своей корзины.
Сделав вид, будто не заметил моих слез.

– Что творится, – вздохнул он, – сгинул бедняга, да? Может, для него оно и лучше! Жить, не видя ничего вокруг – это же мука мученическая. Такая штука – жизнь.

– Его нашли?
– Слепого? А куда торопиться?
– Но...
– Куртку его нашли, бумаги и все прочее. А тело – нет. Самоубийство...

Меня звала мать, но я слышать ничего не хотел. Я ушел. Переночую не хуже, чем дома, там, в ущелье, в горловине Полифемо. Еще минут пять мать звала меня, потом я, кажется, услышал голос отца и незнакомца тоже. Но я был уже далеко, внутри, в глубине ущелья... Полифемо пел. И я снова уснул. Разбудила меня тишина. День обещал быть прекрасным. Я дрожал, живот подвело от голода. И все равно нас ожидал прекрасный день. Ошибки быть не могло. Когда земляки поют, это добрый знак. Туристы сегодня к нам не пожалуют, а погода будет замечательная. Мне хотелось петь, и я уже было затянул серенаду, свою любимую серенаду земляков, как вдруг услышал человека. Он говорил, конечно, все о том же оке и еще о какой-то книге. Я чуть не завопил, увидев его. Это был отец. Он обливался кровью и шел наощупь. Крик застыл у меня в горле, когда глубочайшая тишина воцарилась в утробе Полифемо. Солнце вставало над морем, и тишина ножом вонзалась в горло ему и мне. Но что, собственно, он делал здесь? Да еще в выходном костюме, мало того – в праздничном, который был на нем в день его свадьбы! Вот только шел этот человек и вправду как-то чудно. Что-то выпало у

него из кармана, и, когда он резко оглянулся, я увидел слепого, переодетого отцом при параде. Какой стыд и какое странное чувство – ненависть. Слепой был жив, мой отец его спас. Они разыграли самоубийство. Как в цирке. Но почему же я не заговорил с ним, не сказал, как я рад видеть его живым, не помог бежать?

Он выбрался из пещеры на диво ловко. Вскоре я потерял его из виду.

Начал накрапывать дождик. Я смотрел на синее небо, слушал пение земляков. А он, слепой, уверенно шел к улице, что вела к вулканам. Мне захотелось остановить его, но все было уже предрешено.

– Нет, – сказал он, – довольно. Скажи мне, где я.

– Все вас ищут, – ответил я, – все. О вас говорят по радио. Думают, что вас нет в живых.

– И как же это вышло, что я жив?

Говорил он тоже чудно. Безо всякого стыда подражал португальскому акценту отца. Преувеличенно, как он.

– Малыш, – произнес он наконец, – малыш. Настало время нам с тобой потолковать, не так ли? Они все знают, те, кто тебя послал. В этом мире всегда нужно иметь посредником ребенка, чтобы договориться. Не так ли, мой мальчик? Подойди же, приблизься! Ты мой единственный... как бы это сказать?... мой друг. Мне большего не надо. На тебя вся моя надежда, не так ли? Ты здесь?

– Да, – ответил я сухо.

– Приблизься же. Иди сюда, иди же.

Я видел, как он гримасничает, видел, что он изговаривался скрутить мне руку. Как же он был глуп.

– Иди сюда, – не унимался слепой.

И тут я сделал то, что думалось мне, я не смогу сделать никогда. Я бросил в него камень. Не успел он опомниться, как следом полетел второй, потом третий. И еще, я уж не помню, сколько. Он вопил. Я знал, что теперь никто не подойдет близко. Он тоже это знал.

– Ладно, – сказал он, – твоя взяла. Твоя и твоих присных. Там поглядим. Когда-нибудь ты поймешь.

– Я уже понял, – ответил я.

Солнце уже не на шутку обжигало нам лица. Он и я – мы смотрели в одну точку. По крайней мере, так мне видится эта сцена. На незыблемую, вековечную мраморную доску смотрели мы. Вот, что на ней можно было прочесть: «Здесь жил Р.Л.Стивенсон, бессмертный автор «Путешествия на Мадейру» в 1872-1873 гг.».

Глава II

Не один день прошел, прежде чем мы с матерью смогли поговорить. Что от отца, он раз и навсегда отказался выходить из своей комнаты. Объявил себя окончательно и бесповоротно отсутствующим. Бедняга, никогда еще он не присутствовал так ощутимо в жизни гостиницы. Он требовал к себе мать. Бил ее. Говорили, что он ничего не ест. Незнакомец сорвался и уехал, вроде бы на континент. Но его видели в Фунчале. Да, он был здесь. Он не переставал следить за нами.

На что похожа жизнь двенадцатилетнего ребенка, которому навязали роль великого инквизитора? Он задает вопросы, ему отвечают. Его не гонят, однако же он гуляет сам по себе, смертельно скучает, слоняется. Никаким правилам приличия не подчиняет он больше свою жизнь.

На что похоже воскресенье такого ребенка? Этот день, вечный на свой лад... Знай я, что в будущей жизни придется довольствоваться этим леденящим отсветом, бросил бы все тогда, но ведь в каком-то смысле я и так все бросил.

Вы еще увидите, я был не один. Приятели из деревни подпитывали мои мечты. Говорили, что они со мной заодно.

А потом однажды незнакомец вернулся. Он оброс бородой. Он очень переменялся, улыбался все время. Он возвратился к нам чудесным зимним днем и остался навсегда. Через три дня после его появления отец выздоровел. Он тоже теперь все время смеялся. Все трое стали неразлучны. Мало-помалу незнакомец взялся за дела гостиницы. Не спал он никогда. Считал-подсчитывал, колдовал. И читал вслух грозowymi ночами. Да нет, пел он, пел по-писаному. Так было до дня попугаев. Откуда взялись у нас попугаи? Я потом узнал, что понадобилось сделать нашу гостиницу поэзотичнее. Грех было не использовать для этого название нашей улицы. И однажды я узнал, что гостиница отныне будет называться «Баллантрэ».

Мой отец незаметно стушевался. Мать же очень скоро погрязла в какой-то вялой скаредности, притворяясь, будто прозревает вполне реальные хищения там, где их быть никак не могло. Опять она притворялась, к вящей радости дышавшего на ладан отца.

А тем временем кровавые пятна расплывались повсюду: на лестнице, на стенах во всех комнатах. Их, конечно, стирали, но они были как заговоренные. Эти пятна, проступая вновь и вновь, приобретали все более знакомые очертания. Каждый видел в них то, что хотел видеть, в том числе черты будущего. Клиентов становилось все меньше, и всем было ясно, почему.

В июле я заболел. Лихорадка скрутила меня, когда я затирал самое стойкое пятно. На стене, почудилось мне, вырисовывался профиль слепого, его лицо, словно спроецированное моим отрицающим жестом. Я увидел его, слепого. Я ощутил в руке тяжесть камня, который снова готов был бросить. А потом все вытеснило другое чувство: я поднимался ввысь, один.

И мне довелось наконец услышать смех отца. «Эта дама» смеялась для меня одного. Несколько ночей кряду смех был со мной безотлучно. Я видел кровь, но слышал пятна. Они плясали, потрескивая и гибко извиваясь. Прекрасные в своем плавном кольяханьи.

Зато цвет ночи оставался неизменным. Ее синева порой удручала меня, но какое отдохновение!

Придется все начать с начала.

Итак, незнакомец вернулся. Он прогуливался с утра, слонялся после обеда и спал по ночам. Вечерами он уезжал на такси в Фунчал. Ездил он играть. И, кажется, часто выигрывал. Иногда он брал с собой мою мать.

Существует ли мышечная память? Конечно; вот она, эта боль в такт постыдному воспоминанию, но она-то как раз и отдаляет ту сцену, заставляя говорить о другом. Ай! Мое колено, ай! Победоносное шествие по лестнице. Я перестал спать

ночами, я был уверен, что теряю кровь, когда полная луна глядит в мое окно, рассекая силуэты солдатиков итальянской кампании. Я не спал и в ту ночь, правда, не спал, однако шествие и барабаны были сном. И не приходится сомневаться в том, что боль в коленях ограничила передвижения.

Побои. Мне следовало ожидать, что будет темно. К чему зажигать свет, слепому он не нужен. Но тот, другой. Там были оба. Они направились прямо ко мне. Как засосало под ложечкой, как зазвенело в голове! После того удара кулаком в живот мне никогда уже не стать прежним. Нет, дело не в боли, она приходит потом; провозглашение намерения – вот что трудно проглотить, именно проглотить. Они били долго и больно. Били и были довольны. А шествие все продолжалось, потому что и другие, да, именно так, другие, отец, мать и тот, другой – «другие» – подоспели следом с самым страшным оружием – безучастностью (и теперь боль вызывает у меня другое чувство – стыд).

– Закончили?

Это был незнакомец, единственный, кто еще мог все прекратить.

– Вы удовлетворены?

– Он это заслужил, – сказал мой отец.

Мать с отсутствующим видом смотрела на меня. Но пальцы ее двигались куда-то не туда. Она считала. Подсчитывала.

– Вот и ладно, – сказал слепой, – мы в расчете, малыш. А ты, – повернулся он к незнакомцу, – надеюсь, не откажешь в любезности принять от меня подарочек. Держи!

И он достал черный платок.

– Уф! Вот оно что! – вздохнул слепой.

Он был бледен. Он смотрел на меня и знал, что все знали. Или, того хуже, что рано или поздно возьмут свое подозрения, не здесь, далеко-далеко от нас. Подозрения. Только в них и было, в сущности, дело.

Отскрипели ступеньки, и набатом проснулась повсюду боль. Снова воцарилась тишина. Сколько же сердец билось во мне? В колене сильнее всего, но еще и внизу живота, и в челюсти.

– Партию в покер?

Они давно ушли, когда мать начала свой рассказ.

– Сынок, ты должен знать, все, что с тобой произошло, – судьба, и только. Но это все к лучшему. Бить они умеют, тебе ничего не повредили. Сам убедишься, завтра все уже забудется. Сам убедишься, мужчины как дети. Все проще простого. Дело в том, что у твоего отца было кое-что в прошлом. Не подумай, ничего криминального, но времена меняются. Что было вполне законно вчера, сегодня наказуемо. Твой отец – человек чести. И хороший отец, знай. Но эта история выбила его из колеи, понимаешь? Он давно все это забыл. Совсем забыл, что эти люди живут на свете. Так что сейчас он сам не свой, да и я тоже. Но, говорю тебе снова, бояться нечего. Спи крепко, дай я еще раз тебя поцелую.

Они смеялись. «Как в старые добрые времена», – реготал кто-то. Они мешали мне спать. И тогда я кое-что почувствовал. Именно так: кое-что. Не более того. Пробежавшую по коже дрожь. Холодную пену. Мне было страшно. После

боли мой страх опережал события. Отныне и навсегда. Я вот о чем: с чего вдруг незнакомец поднимался к себе один? Он не устал, об этом говорили ступеньки – уж я-то знал их музыку. Нет уж, надо мне подняться наверх посмотреть. Я эту науку превзошел в совершенстве. Никто ничего не услышит. Ведь до сих пор никто и не чаял, что я все видел через «Божью щелку».

Незнакомец достал револьвер. Тщательно почистил его и куда-то ушел. Далеко-далеко грянули выстрелы, и я проснулся.

Голос.

– Мальчишка, где мальчишка?

Ясно, что мне никак не успеть добежать до своей спальни.

– Ушел.

– Вы же сказали, что дали ему таблетки.

Заверения.

– Да успокойтесь же!

– Ах ты, тварь! Шлюха! Где мальчишка?

Раз десять они поднимались по лестнице. Потом все стихло. Мать плакала. Этажом ниже незнакомец вошел в свою комнату. Стал расхаживать взад-вперед. Все начиналось сызнова. Он читал книгу. Я не мог заснуть и умирал от усталости. И вот тут-то тишину нарушили звуки. В кишках заурчало, ну да, в кишках, да еще как оглушительно. Мне хотелось есть, боль и голод душили меня. И еще хотелось плакать. Но эти звуки, как было их заглушить?

Готово дело. Незнакомец отложил книгу. Огляделся. И медленно, очень медленно устремил взгляд вверх. Его глаз видел дальше моего, дальше глаза Божьего. Улыбался ли он? Уже да и еще нет. Серьезность положения возобладали над простейшими рефлексам. Он достал свой револьвер и прицелился в глаз.

И выстрелил. Пуля пробила потолок, и я смог наконец уснуть. Там у нас по сю пору говорят о тех достопамятных вечерах. Что только не говорилось! Что только не замалчивалось! Многие и многие воскресные дни в будущем, замурованном в этих камнях, погребенном под этой незрячестью. В нашем краю зрят в корень, оттого выстраивается ледяной лабиринт, и если в нем оскользнешься, то это на всю жизнь.

Ради чего же все затевалось? Где-нибудь это должны были знать, по крайней мере, в доме. Даже (и особенно) благодаря тому подобию траура, который носил я в последующие недели. Вас никогда не убивали? Знайте же: это – опыт. Я познал его уже назавтра, в том, как моя мать отводила взор, в разнужданной и непристойной радости отца. Во взгляде – «глаза в глаза» – незнакомца. Ах да, я забыл, отныне он звался «капитаном». Впредь я буду говорить о капитане – и не иначе. Но, конечно же, будет лучше, если я начну с похорон. Да, разбудив меня, безмянный кот выскочил в окно и убежал куда-то к морю. Там, на берегу, засыпав, как мои вырезанные солдатики Итальянской кампании, папа с мамой постигали в полудреме законы матери-земли. Под началом капитана они хоронили тела двух моих палачей.

Но вернемся к коту. Его агония, надо полагать, баюкала меня в моем загробном сне. После выстрела у меня стало два ока. Нет, три, было ведь три выстрела.

Последним, наверно, и ранило кота. Я огляделся. Никому и в голову не пришло искать меня в моем уголке. Вот и отлично. Кот смотрел в окно, дышал он с трудом. Он умирал с достоинством. Какая отрешенность! Я совершил ошибку, когда хотел его погладить; он оцарапал меня, и от этого неизысканного жеста к нему вернулся страх. Он забегал во все стороны. Жаль, картина была стоящая. Но вот ведь как свойственные человеку слабости, точно зараза, передаются всем, кто на его стороне. Пришлось мне смотреть этот спектакль. Он с мукой раздирал себе нутро, извиваясь в отчаянных корчах. Я хотел было выбросить его в окно, но последнее наитие заставило его соблюсти законы сцены. Он выскочил сам и скрылся.

И вот я взираю сверху на происходящее там: по своему обыкновению, мой отец взял на себя грязную работу. Как аккуратно откидывал он лопатой черный песок! Как старательно, в каком хорошем темпе нырял в омут своих душевных терзаний! Целую вечность спустя он заговорил. Сам с собой, разумеется. Это был знак. Мать снова принялась донимать его завуалированными упреками. Опять она устремилась на поиски женственности – все равно какой. А капитан, их зеркало, – как кротко скручивал он папироску, как вдумчиво считал своих мертвецов! Ну да, это были они, слепой и тот, другой. Да, это моему отцу была пожалована привилегия оскорбленных. И это – не последняя несуразность. Слепой, если позволено мне будет так выразиться, видел все. Он один делал честь происходящему. Красавчик, образина, не более того. А тот, другой – мне до сих пор смешно. Его похоронили по стойке «смирно». Можно не сомневаться, был он всю свою жизнь учителем. Он не видел белого света, все застило знамя. Но удивительнее всего, хочешь – не хочешь, придется мне это сказать, отвратительнее всего, да что я говорю, самый ужас – это было отсутствие крови. Ни капли. Это я, наверно, преувеличиваю. Но нет, повторяю, ни капельки, а между тем там, где был я, наверху, в укромном уголке, под тремя моими всевидящими очами растекалась во все стороны кровь. Преступление не совершилось у меня наверху, но здесь воняло кровью, тогда как эти продырявленные тела были скупы на свои соки. Казалось, и тут сработал «закон молчания».

Я сказал, что они говорили. Бубнили монологи, но временами, как бы случайно, выплывал диалог. Было потешно – глухая тетеря, было обидно – острый язык. Класс, одно слово! Нетрудно догадаться, что я кипел от ярости. Наконец мой отец вылез из ямы. Тела опустили туда – и все. Сверху забросали дерном. Еще несколько минут – и они могли уснуть в объятиях друг друга. Но, верно, у них остались еще дела, потому что они пошли в контору и что-то обсуждали там до полудня. Счетная машина работала безостановочно.

Глава III

Вокруг меня стояла тьма. Я знал это; было, наверно, часов шесть утра. Курился дым повсюду над островом в этот вторник жертвоприношения. Я убежал в горы. Никто меня не видел. Один раз я остановился, только один, и долго оглядывался. Грузовичок ветеринара едва не переехал меня. Вот что пришло мне в голову: каждая моя нога – умирающий кот; это из-за мурашек. Но они не умерли, мои ноги, нет. Они царапали пустоту вокруг себя, хотели поиграть с лунными шариками,

с коленными чашечками. Что за утомительная прогулка! Надо было действовать или схорониться, и не мне застыть перед мертвой коровой, едва вышедшей из своей молочной могилы. Все пугается теперь. Еще стояла темень вокруг боен, а остров уже горел. Кто-то узнал меня, но я не стал отвечать на призывные жесты, чересчур, на мой взгляд, энергичные. Я ушел. В чем я чувствовал себя виноватым?

Все утро я проспал под открытым небом.

Да, остров горел. Жара, пожары, запах горелого мяса. Я проснулся, почувствовал голод. Если идти точно по прямой к заснеженной горе, можно было встретить приятелей, которые часто устраивали там пикники. Но – никого! Я сбился с дороги, сам виноват. Никогда у меня не хватало терпения хорошенько исследовать остров. И вот теперь я был обречен ходить по кругу.

Мне встретились две или три группы туристов. Да, я и теперь помню все это очень ясно, «в свете ночи». Луна была ледяная, ночь синевы смертельной, а остров кишел людьми, как мои ноги мурашками: дороги, ведущие в Фунчал, заполонили машины и автобусы с туристами, озабоченными и улыбающимися, точно слепые. Как сейчас вижу все это «в ночи». Вижу в тишине лунный холод, пронзающий хрип зарезанных животных. Последующие недели будут отмечены воспоминаниями, уже застывшими в этой пристальной тишине, однозначно обличавшей мою семью.

Я пришел домой около девяти часов вечера. Меня ждали. Искали меня повсюду, сказали они. И повсюду меня видели. Я стал очень популярен. Не могу не признаться, что испытал облегчение: все, абсолютно все вернулось в привычное русло. Ни малейших следов какого бы то ни было беспокойства. Они только играли, для меня, надо полагать, но игре этой не было конца. Кажется, я был наказан. Все уселись за стол, тут-то облегчение и нахлынуло. Что был вечер, что за посиделки! Смеялась, обливаясь потом, честная компания. Мой отец запел. Да-да, запел тонким, пронзительным голосом:

*Treis hommenes no ataud do morto
E una garrafa de ruhm...*

Поначалу я смеялся. Эта песня была мне тогда незнакома, и я не мог знать, в какой лабиринт ориентиров заведет нас она. Откуда мне было знать, что она открывает нам двери в ту самую историю, которую я рассказываю сейчас.

Капитан подхватил припев по-английски, потом моя мать – по-французски. Настала моя очередь. Я поднялся, медленно, торжественно, готовый запеть, готовый войти навеки в это братство живых мертвецов. И тут из горла моего вырвался другой голос, выше, тоньше остальных. Я раскрывал рот, но голос шел откуда-то со стороны, и не один голос, а два, три. Все расхохотались. Они покачивались со смеху, а в моей голове пели тысячи голосов. Я хотел было уйти. Распахнул дверь, и хор попугаев встретил меня, охваченный полнейшим смятением. Их стало много, десятки. Все пели пиратскую песню. А за моей спиной люди присоединили к хору свои голоса.

Рука капитана тронула мои волосы. Я чувствовал его дыхание. Он пристально смотрел на меня, он увидел и догадался.

– Кто тебя оцарапал?

- Кот.
- Какой кот?
- Безмянный.

Капитан ответил мне оплеуху. И от второй оплеухи застыл как вкопанный.

– Не смей касаться моего сына без разрешения!

Кто бы мог это сказать? Мой отец!

Капитан вздохнул, выпил. И все пошло как прежде в этом лучшем из миров.

Ночью я не мог уснуть. Я все слышал. Я научился видеть в темноте. Я говорил себе: я вижу благодаря слепому. Все, чего он коснулся, о чем догадался, что просчитал, покуда дрался, пропиталось его липким светом. Я говорил себе: я вижу глазами безмянного кота, и поэтому не буду знать покоя, покуда мне не выпустят кишки. И еще я говорил себе: все видят, что я вижу, глаз Бога есть и в моей спальне, за мной следят и скоро разоблачат мнимое мое ясновидение.

Я ушел «видеть». Там, наверху, среди отживших свой век игрушек, одиноко светился глаз Бога, едва скрытый швейной машинкой и парой сапог. Внизу, в свежеекрашенной комнате, капитан читал книгу. Он ждал, это было очевидно.

По всему выходило, что ждал он меня. Не успел я лечь и прикинуть глазом к одной из трех щелок, как занавес поднялся. Вошла моя мать, и завязался странный разговор:

- Ваш сын что-то видел, он знает.
- Знает – что?
- Больше нас, да-да, он знает больше нас.

Мать расхохоталась.

– И что за блажь у вас катить бочку на моего сына? Можно подумать, вы ревнуете.

- Вам, должно быть, чертовски этого недостает.
- Чего?
- Ревности.
- Какой вздор!

Капитан схватил ее, притянул к себе и поцеловал. Вот тут-то началась самая странная часть их спектакля. Они кружили друг вокруг друга. Словно исполняли сцену для невидимого зрителя. А зрителем этим был я. Я ничего не понимал.

– Довольно, хватит ребячиться, – сказал капитан. – Поговорим лучше о наших делах.

– Ваш ход, – ответила мать.

Долгую паузу прервал слабый кашель.

– Уже! – произнес капитан.

– Я же вам говорила. Не бойтесь, он может видеть все, но ничего не слышит. Ну же!

Капитан вздохнул и опять поцеловал ее.

– Что ж, – сказал он. – Надо действовать. Он нас опередил, успел снестись с остальными.

Он говорил, а сам все гладил и гладил ее ногу.

– С остальными? Я думала, эта проблема решена...

– Слепой? Ему крышка, но у него было достаточно времени, чтобы предупредить орла, а значит...

– Это верно, надо действовать быстро, – согласилась моя мать.

Теперь оба были полурядзеты. Они играли «в замедленном темпе». Я понял, что мой отец все видел через щелку в стене, расположенной справа от сцены.

– А как же мой муж?

– Что – твой муж?

– Я не могу вот так его оставить!

– Почему?

– Ты не знаешь моего сына, он – чудовище... он убьет его. Он и тебя убил бы, если б мог.

Капитан рассмеялся гулким и убедительным смехом.

Ему и вправду было весело. Он все пытался повернуться спиной к отцовской щелке, чтобы не погубить атмосферу, но это было слишком заметно.

Они поняли, что пантомима утратила все свое очарование. Что придется прибегнуть к крайностям. Я закрыл глаза. В мое тогдашнее представление о морали такие вещи не укладывались. Но как я мог узнать, если ничего не видел? И как вынести то, что я слышал, не поступившись хотя бы одним взглядом?

– Нет, я не шучу. Надо действовать. Мне не хочется его убивать, я вообще не люблю убивать. И потом, все равно нельзя убить совсем.

Балет продолжался. Скрип пошел по всему дому. Я говорил уже, на какой тайной связи строятся мои воспоминания. Этот особняк служил в прошлом тюрьмой и начальной школой; монастырем и почтой. Дом тоже, на свой лад, «общался». Эта связь параллельных миров озвучивала каждый тайный шаг. Так было со мной, так было со всеми. И только это мне запомнилось, только скрипы, скрип на скрипе.

Благодаря этому каждый день имеет свое лицо, которое я мог бы узнать из тысячи. Я в точности вижу порой тот или иной день, в целом и в частности, когда, на беду, эта беззаконная гармония воцаряется в моих ушах. Любой пустяк может вызвать ее: чиркнет спичка, затормозит машина, прозвучит смех и хлопок закрываемой двери. Так и этот день видится мне со всеми его мертвецами при свете керосиновой лампы, порождение осатанелой бури.

Пантомима внизу тянулась, тоскуя от собственной глупости, ужом на солнце. Эти двое сговаривались только ради удовольствия продемонстрировать оборотную сторону своих замыслов.

– Нет, я знаю, ты никогда не осмелишься. Их слишком много.

– Ладно, тогда поделимся.

– Чем, мой милый?

– Этим.

«Это» находилось в небольшой суме, которая лежала как раз в углу – на то была воля Божьего ока.

Суму эту я уже где-то видел. Нет, это была не та, что у слепого. Но она походила на другие, виденные мною в прошлом, у других друзей моего отца.

Тому было несколько месяцев. Старые друзья пришли проведать его воскресным днем, в декабре, незадолго до Рождества. Они принесли подарки. Я получил тех самых солдатиков итальянской кампании и статуэтку, привезенную

из Африки. Красивую фигурку, которую определенные мысли – хоть я и гнал их из головы – заставили меня зарыть в дальнем углу сада... надо же, совсем рядом со злосчастными трупами. Я знал, что все это когда-то отзовется. И это когда-то было где-то, здесь и сейчас.

Друзей было трое, они пришли с женами, тремя шумными дамами, одетыми в ни то ни сё. Из чего напрашивался вывод, что это – испанки. Они остались у нас и провели всю ночь с моим отцом за игрой в карты. Мне показалось, что отец проиграл, – нет, не деньги, что-то куда более существенное. Та карточная партия стала у моих родителей излюбленным поводом для ссор. Это превратилось в ритуал.

Однажды я в простоте душевной спросил мать, какова была ставка в той пресловутой игре.

– Его душа, быть может, – обронила она в ответ с рассчитанной небрежностью.

И по тому, как мертвенно побледнел отец, я понял, что она ни на йоту не преувеличила.

Стало быть, он проиграл свою душу.

Душу или не душу, но проиграл он жену. Она без конца повторяла ему это на множество ладов. Да, это даже стало ее любимой шуткой. Как называется человек, который ставит на кон свою жену?

Только много позже я понял, что он отрекся от своих прав. Что это были за «права»? Грандиозность этой мизансцены говорила мне о строжайшей тайне и помпезности, которыми эти люди умели себя окружить. Да, тайна была, но тайна, придуманная а posteriori. Деньги, сбережения. Но ведь сбережения – это лишь оболочка для пустоты. И только эта пустота могла унять их раж в предпринятых ими безумных поисках.

Нет, на все они не отважились. Зрелище было в целом вполне пристойное. Однако придерживались они своего репертуара с трогательным постоянством, которое даже у меня, в мои лета, в конце концов вызвало улыбку. Сколько усилий, чтобы скрыть тайну, – которую ведь предстояло еще придумать целиком и полностью.

– Убить, речь идет об убийстве.

Воровство, убийство, минута была коротка, а стряпня тяжела и пережарена. Они убили единственно ради удовольствия убить, теперь требовался повод. Найти его должен был я.

Следующую сцену легко было предвидеть: те же и мой отец в сером костюме.

– Ну-с, – сказал капитан, – здесь теперь входят без стука?

– Только так, – проронил отец с горечью, прозвучавшей неуверительно.

– Что ж, – кивнул капитан, – поговорим.

– Оделись бы сначала, – поморщился отец.

– Не мужик и никогда им не будет, – вздохнула мать.

Сверху, как видел ее я, эта семейная сцена производила странное впечатление.

– Ладно, разбирайтесь без меня.

Капитан ушел. Он оставил открытой дверь туалета, чтобы все было слышно. Его, я думаю, все это очень веселило.

Оставшись с матерью наедине, отец поцеловал ее. Погасил свет. Мне казалось, я вижу сон; это было так непохоже на все, что я потом прочел. Они возились, стонали; я закрыл глаза. Потом вспыхнул свет: мать стоя и отец на коленях мерились взглядами. Они увидели друг друга впотьмах и вот теперь мерились взглядами вслепую. Все оказались на своих местах: капитан покатывался со смеху, а я – я тоже смеялся, от души. Вот еще что: они держались метрах в семи друг от друга, не меньше. Лед был сломан. Игра возобновилась; они заговорили, оба разом. И вместе ушли. Я понял, что отъехала машина, когда еще не стих в ушах их смех.

Прикатила машина, не та, другая. Я спустился и посмотрел в окно. Да, это была другая машина. Из нее вышли двое и направились к дому. Надо было что-то делать. Чтобы добраться до Мануэля, я должен был пересечь улицу, Антония же была мне ни к чему. Я поднялся по лестницам в отцовский кабинет. Я знал, где он хранит свой револьвер. Послышались голоса:

– А мальчишка?

– Черт с ним!

Нет, револьвера там не было. Его не было нигде. Я спустился.

Оставалось ружье. Охотничье ружье. Открывая дверь кухни, я что-то задел, разбилась вдребезги бутылка. Весь дом отчаянно заскрипел. Они были в гостинной. Они знали, что я здесь.

– Малыш, где ты?

– Не бойся, мы друзья твоего отца.

– Его здесь нет, проснулся, наверно, от стука. Где тут свет?

Я, наконец, нашел ружье, но как знать, заряжено ли оно?

– Малыш, иди сюда! Сейчас зажжем свет, ты, надеюсь, не против.

Я услышал брань. Один из гостей упал.

– Здесь кто-то еще.

– Думаешь? Краб, что ли, опять шутки шутит?

– Краб, это ты? Покажись! Понял, что я хочу сказать? Нам о многом потолковать надо, слышишь, краб?

– У тебя нет ничего дурного на уме, мы знаем, краб, мы к тебе всей душой, иначе разве я пришел бы сам? Орел, сам знаешь, просто так с места не снимется! Орел – он одного терпеть не может – сниматься с места зазря, понятно?

– Ну что, краб, мир?

Я держал ружье, я не мог думать ни о чем, кроме ружья.

– Кто здесь?

Собеседнику изменило спокойствие.

– Выйдешь ты или нет, черт тебя побери?

И тут они наконец зажгли в кухне свет. Я уронил ружье. Оно выстрелило само.

Я увидел перед собой отца. Да, я не знал, кто этот человек, а это был мой отец – весь в крови, дрожащий. Он рухнул наземь.

– Господи! – произнес второй. – Что ты наделал. Только не это. – Он поднял тело и вышел с ним. – Что ты наделал!

На полу из лужи крови смотрел стеклянный глаз. Только теперь я понял, что стою совершенно голый.

Глава IV

На другой день с утра пораньше я собрал чемоданы. В них нашлось место всевозможным вещам: сначала я аккуратно уложил свои рубашки, носки, свитер. Потом что-то вдруг заставило меня все выкинуть. Я наполнил чемодан мылом – все куски мыла и флаконы шампуня, какие только нашлись в доме, поместились в мой новый чемодан. А потом стукнуло: почему бы не книги (я, между прочим, никогда ничего не читал), и опять все выкинул. Так повторялось пять, шесть раз. Светало. Автобус отправлялся в половине седьмого. Я затруднился бы сказать, что у меня в чемодане. Он был тяжелый, а как же иначе. Вещи – уложенные, выложенные, разбросанные по дому – перемешались в моей голове с другими, почему-то оказавшимися в чемодане. И почему, кстати, я сказал «мой чемодан»? Я наполнил их несколько. Три оставил на втором этаже, еще два валялись у двери кабинета. Последний – возле кухни. Да, в них поместился весь дом. Бумаги отца, духи, и еще – галстуки, их было больше всего. И наконец – револьвер. Но попал ли он в тот чемодан, что был при мне?

Каким-то чудом в автобусе никто меня не знал. Как будто я был уже далеко. Ни Пауло, ни Антония не видели, как я уезжал. Я занял место в конце автобуса – и путешествие началось, словно фильм. Вскоре я уснул, а когда проснулся, мы были недалеко от Фунчала. Рядом со мной говорили по-английски. Речь шла все о том же «крабе».

– Они и на этот раз выпутаются? Ты правда так думаешь?

Этот голос был мне знаком. Меня они, похоже, не заметили. Настроение у них было отличное. Они приканчивали бутылку виски, судя по всему, не первую за день. Я готов был поклясться, что это не те же, что прошлой ночью. Но в таком случае сколько же их? Я не отважился сесть прямо. Они сидели как раз передо мной. За время пути я услышал еще кое-что из их разговора. Обрывочные сведения вразброд. При попытке собрать их воедино, головоломка выстраивалась во что-то очень банальное, темное и невеселое.

Мои родители – злодеи. Это бесспорно. Они преступники. Или же ведут какую-то игру. Или же, или...

Они вышли у порта. С чемоданами. Я не мог дать им уйти (не спрашивайте, почему). Их разговор – они говорили о моей семье. Лис – это был мой отец, а Лили – моя мать.

– Уф! Ты же знаешь, Лили ни за что не согласится.

– Вот увидишь.

– У нее было одно на уме, и она получила, что хотела. Теперь ей остается только ждать, когда умрет... В общем она счастлива!

– Если поглядеть на ее походку...

– А что у нее за походка?

Они пили пиво в портовом кабаке. Я был рядом, затаился и слушал, сидя на своем чемодане.

– Вот и он.

– Давно пора.

- Что это ты делаешь?
- Главарь схватил меня за горло.
- День добрый.
- Кто этот мальчишка?
- Он следил за вами?
- Спокойно, орел, спокойно...

Как я мог спутать его с моим отцом? Он был меньше ростом, зато куда шире, а в движениях проворнее. Он улыбался доброй улыбкой – ну просто мальчик из церковного хора, отмахивающийся от более чем заслуженных похвал.

– Ладно, это был несчастный случай, согласен. А теперь ты откроешь этот чемодан.

Рана у него была не тяжелая – царапина на лбу. Он носил черную повязку.

– Нет, не здесь. Составь-ка нам компанию. Ты голоден? Пойдем к нам, кажется, еще остались пироги, правда, «сука»?

Один из двух молодчиков открыл глаза. Он витал где-то далеко. Какую-то долю секунды все смотрели на нас. А потом каждый возобновил привычные движения в замкнутом кругу. Да, время остановилось. Собрать головоломку можно было и так, и сяк, и этак! Все прикидывались, будто в упор не видят, как орудут похитители, в то время как самая длинная на свете похоронная процессия расплзлась по площади, черной от платьев святош. На помощь! Это я сделал назло, издеваясь. Все, абсолютно все повернулись к нам спиной в ритме вальса, да как слаженно! Ни одного лишнего движения, каждый выпивал слишком рано или слишком поздно, по жесту на брата, каждый замыкал свой круг. Как сейчас вижу того господина рядом с крабом, я еще нарочно толкнул его, проходя, а он, глядя точнехонько в противоположную сторону, извинился: пардон, мадам, отчего залились краской все вокруг нас. В общем, они уводили меня под шумок мимо злосчастной похоронной процессии, сквозь спешащую толпу, из которой глядели – для меня одного – гневные глаза моей матери. Она и не думала отворачиваться. Я видел ее в самой середине этой рваной сети, ткани движений, расплзающейся на нити.

– Нет, – сказала она, – только не это.

Я рванулся вперед, в принципе как бы к ней, но на самом деле к этой несуществующей толпе, что располагалась близ сыров.

– На помощь!

Ладно.

Пора уже наконец сказать, что этот козырь благоприствал моим априорным данным при всем ничтожестве и убожестве школяра из провинции.

Конец сцены я предугадал. Они разбежались во все стороны. Звуки духового оркестра придали картине красок. Я, в сущности, от души забавлялся. Но не тут-то было. О да! Я бежал теперь по улицам, стремясь к холмам. Банановые плантации утихомирили бы мою душу. Но, верно, были какие-то шкалы, чтобы все спрямить. Все остановились. Где же она, эта граница?

– Иди сюда, – сказал старик. – Иди сюда, малыш. Супчику хочешь?

Театр одного актера, точно вам говорю. Десять минут спустя я сидел перед старичком и прилежно ел суп, а между тем, в полной тишине, вся банда ворвалась в каморку вышеупомянутого сапожника.

– Дайте ему хотя бы доест суп! – потребовал старик.

Уважение они проявили, что да, то да. Сами решили не открывать чемодан без моего согласия, раз уж он мой.

– Вот и мы! – объявил сука.

– Чемодан ждет тебя!

Я доел суп и подзадержался, раскидывая незавершенные улыбки направо и налево.

– Чемодан, – произнес удушливый голос: он любил стусевываться до шепота в темных переулках, вот и стал таким.

И тут грянул взрыв. Что же все это могло означать? Всевозможные пары обуви, пепельницы, улики и многое другое. Оправы для очков, множество банок с вишнями. Нашлась, правда, и бутылка виски.

– Что ж, все это пригодится, – заключил голос. – Остается хоть что-нибудь понять в этих бреднях. Что ты знаешь, чего ты, собственно, хочешь от нас?

Я успел перемножить в голове фигуры, которые предстояло расставить по местам в недалеком будущем. Они меня одолели.

Через несколько часов я пришел в себя.

Они все еще были здесь и вдумчиво рассматривали крошечные пятнышки крови. Повинуясь инстинкту, я прикинулся мертвым.

– Что будем делать с мальцом?

– Надо спросить у его матери...

– Уф! У этой...

– Да ясно же, что чемодан – это ловушка. Теперь-то все видели ее на площади, это ловушка, точно вам говорю.

Я лишь чуть-чуть приоткрыл глаза и весьма приблизительно представлял себе происходящее. Один из них, сильно смахивающий на обезьяну, суетился больше всех. Он размахивал револьвером, держа его не тем концом, и то и дело колот орехи. Мальчишки, да и только! Но чего они хотели от меня?

– Надо было отыскать следы, хотя бы следы в этой сраной дыре!

А я, весь как один, прикидывался мертвым.

– Чуть беды не случилось, надо все-таки что-то делать и побыстрее!

– Что за банда, ей-богу!

– Он все слышит, он не спит!

– А нам-то что с того?

Тут я вдруг понял, что говорят на разных языках. Но я почему-то все понимал. Точно, понимал. И, кажется, улавливал колебания злодейских помыслов.

– Убьем его!

– Не стоило бы, но...

– Скажешь тоже! А! Понятно, что у тебя на уме, боишься хозяина.

– Уф! Орел, сам знаешь, давно уже не летает.

– Ну, вот и орла поминаем. Летает он, уж несколько часов летает... Ручаюсь, он уже далеко...

– Боже правый! А как же блинная?

– Брось, с этим покончено!

И тут они замерли. Позвольте, я помогу вам проникнуться этой неповторимой минутой: один сидел за маленьким столиком, на котором копошились огромные живые крабы, другой в углу с отсутствующим видом изучал какую-то карту, еще один перебирал улики, то есть, я хочу сказать, вещи из моего чемодана. А старик с супом жадно ловил каждую увертку, каждую нелепицу, точно ткач, стуча ложкой, чтобы обозначить паузы. Ну да, надо же было как-то скрыть приезд машины.

Чем больше я думаю и раздумываю, тем сильнее все запутывается в моей голове. Может, они уже были там? По такой-то дороге они приехали невероятно быстро. Да, это были они, моя мать и все остальные.

Кроме одного.

Полчаса спустя я спал в самом роскошном гостиничном номере, какой мне только доводилось видеть в своей жизни. Мать рассказывала мне сказки. Она делала это, чтобы я уснул, но, добившись своего, будила меня, чтобы продолжить.

Очень скоро я принялся задавать вопросы: да, его больше нет, бедняги. Но это я знал. Итак, надо было жить дальше без отца. Я стал сиротой. Как в сказках матери (она уже рассказывала новую, опять про птиц).

Дальше рассказ пойдет о сироте.

О перелетных птицах.

Итак, он умер. Но... каким образом? Я уснул за полночь. Мне снились, конечно же, последние события (в каком-то смысле я и сейчас вижу их во сне). Все смешалось в моей голове – так же смешается все и в будущем. Придется принять это за правило: мне так и не удалось выпутать их лица из клубка подозрений, которые кружили в бездонной пучине, ослепляя. Один раз мне привиделся спящий краб: в чистом виде страх. Он менял маски одну за другой. А между двумя масками плакал. Я просыпался дважды или трижды и каждый раз видел, как плачут три моих лица в трех зеркалах номера, а сам я хохотал, как безумный. Но все скажут, что я преувеличиваю, как всегда.

– Он притворяется, но на самом деле его глубоко потрясли последние события.

На этот раз говорили так близко, что я поневоле встревожился...

– Он проснулся!

– Да, сударыня, он больше не дрожит...

– Я чуть с ума не сошла от этого смеха!

– Это шок, сударыня. Вам тоже следовало бы отдохнуть.

– Нет, доктор, у меня много дел. Мне надо бежать.

– Мама!

– С добрым утром, мой маленький, до свидания, доктор.

Я даже не успел оценить ее новую прическу.

– Ну-с, мой мальчик, пора нам потолковать. Я доктор Берштейн. Я в отпуске. И я им дорожу. Объяснили бы мне, почему никто из моих коллег не пожелал тобой заняться. Ты не знаешь? Если я расскажу тебе, как провел вчерашний день, быть может, моя точка зрения и для тебя кое-что прояснит, верно? Говорят, это часто помогает. Итак, вот тебе моя история.

Я – доктор Алоизиус Берштейн, странное имя для француза родом из Венесуэлы, чьи родители были уроженцами Шанхая. Но все это совершенно неинтересно, не правда ли? Мне почему-то кажется, что мы с тобой еще не раз успеем в будущем рассказать друг другу свои жизни, правда? А вот то, что нас сейчас занимает, должно уместиться в старый добрый двадцатичетырехчасовой цикл. Да, малыш, yesterday я еще ничего не знал о жизни, о нашей жизни. Я помню, это ведь было только вчера, помню-помню... Я решил выйти на рассвете, не люблю ранних прогулок, но вчера... В общем, прокатились вокруг света...

Он замер в растерянности. Он сочинял, все происходило не так и не в том порядке.

– Тебя смущает мой взгляд? Он всех смущает. Еще в раннем детстве у меня нашли исключительно редкую форму дальновзоркости. Я вижу все, что происходит за сотню метров и дальше. Только кривизна земного шара может воспрепятствовать моей бесцеремонности. Да, малыш, бываю такие люди. Так вот, чтобы я мог сосредоточиться на интересующей нас теме, мне нужен вот такой взгляд, бегающий, чуть косящий, из-за которого я незаслуженно приобрел репутацию лицемера. Но стоит мне сфокусировать взгляд – «я вижу». Или, вернее, что-то начинает происходить там, куда я смотрю.

Его прищур и мигание раздражали меня. Так самодовольны бывают только последние трусы.

– Ты понял, о чем я, не правда ли? Как только я фокусирую взгляд, что-то имеющее отношение к нам совершается... там, далеко.

– Я понял.

– Отлично, я так и знал. Ты все-таки заговорил со мной. А от того, что я тебе сейчас расскажу, ты, надеюсь, онемеешь до конца своих дней. Так на чем мы остановились? Ах да! Мы остановились... там!

Теперь он сфокусировал взгляд. Значит, это была правда. Там что-то происходило. Что-то имеющее отношение к нам. Я посмотрел туда, куда смотрел он. Сначала я ничего не увидел. Ничего особенного. Рядом с ними трое по-праздничному одетых крестьян читали одну и ту же газету. Собака играла с мертвым голубем. Но да, да, теперь я видел: там был бар, именно оттуда «эти люди», как же их называть, эти не-туристы похитили меня. Теперь они были там. С чемоданом. И... повторяли ту сцену. Между тем, приходилось признать очевидное: меня там не было. Я не пришел на встречу. Что же они делают? И похоронная процессия тут как тут.

– Бедный мой мальчик, это несут твоего отца. Но, – продолжал доктор, – я отвлекся от рассказа. Как я уже говорил, был очень ранний час, когда я решил совершить прогулку. Это мой последний отпуск, и я не хотел упустить ни минуты, ни секунды. Сначала я отправился к набережной. Обожаю гулять по набережным. Это мне столько всего напоминает. Да, кстати, говорил я тебе, что в твои годы я тоже жил в этом месте? Ну вот, предположим, я вспомнил, закрыв глаза, безвозвратно ушедшее детство, как вдруг голос, вернее сказать, отголосок, донесшийся из этого далекого прошлого, вернул меня в наш горестный мир. На помощь, звал этот голос. Я открыл глаза и все увидел. Это был, конечно же, ты. В окружении этого блестящего общества. Тебя увозили в машине. Мне захотелось

узнать подробнее, что происходит, и я закрыл глаза. Говорил я тебе, что у меня исключительно тонкий слух? Я слушаю и слышу на большом расстоянии, но всегда не то, что вижу. Надо еще добавить, что у меня, к несчастью, два уха и им никогда не удается слышать одно и то же. Это означает, что я навеки обречен слушать два разговора, внятность которых зависит от их неслаженности. Когда-нибудь ты поймешь, что я вдобавок обладаю маятниковым мозгом, и, может быть, тогда разгадаешь причину моей печали.

Теперь доктор говорил сам с собой. Я, по правде сказать, слушал его в пол-уха, поглощенный абсурдным спектаклем, покинутым публикой за двадцать четыре часа до начала.

– ...как я уже говорил, мои уши донесли до меня два разных разговора, между которыми я по идее должен был бы метаться, ничего не понимая. Но, представь себе, я понимал все, абсолютно все. Один отсылал к другому. А то, что мне не удалось уразуметь сразу, дошло до меня сейчас... если ты понимаешь, что я хочу сказать.

Он посмотрел на меня иронически; его пессимизм придавал духу. Я в самом деле видел там, как разворачивается строем похоронная процессия. Она образовала что-то вроде буквы U вокруг места событий (где был я). Все в черном, кроме, разве что, моей матери. Но это действительно была она. «Не-туристы» суетились, бегали туда-сюда с карманами, набитыми всякой всячиной. Я слышал доносившиеся откуда-то издалека бесцеремонные звуки. Выстрелы я слышал, если быть точным. Видел, как люди разбегаются в разные стороны. Маленькой толпы хватило, чтобы заполнить просторную площадь. И закрывались одно за другим окна. В эту минуту «тот самый» солнечный луч упал безнаказанно с небес.

В моей комнате доктор невозмутимо продолжал:

– Одним ухом я слышал выжимки разговора, старательно повторяемого слово в слово: «Это он, – говорил один, – это краб, вот во что он, краб, превратился, – прислуга, нянька при сопляках».

А левое ухо, между тем, гневно отвечало: «Нет, мы не можем дать ему уйти, он нас видел».

«Но где же... – шептало другое ухо, – и что он мог видеть, зачем нам рисковать, это же глупо!»

А то ухо гнуло свое: «Поймите, без него мы никогда не найдем того, что ищем».

А то – свое: «Не верю я в эти рассказы. Мне осточертели аэропорты. К чему все это? Зачем?»

А то в ответ: «Алмазы».

У доктора был измученный и опустошенный вид.

– Вот и все, – сказал он, помолчав. – Все. Теперь, мой мальчик, мне бы хотелось задать тебе один вопрос. Где алмазы?

Я посмотрел на площадь с похоронной процессией. В задних рядах, глядя с рассчитанным равнодушием, я увидел моего отца, следовавшего за собственным гробом. Он улыбался, а во рту его, едва заметный среди вставных зубов, поблескивал большой алмаз.

Глава V

Спустя неделю после событий, повлекших смерть моего отца, я вернулся на свое место за стойку портье. Голова у меня шла кругом: не меньше сотни туристов в день; горы было не узнать. А мать вьюном вилась вокруг гостей. Все быстро привыкли к чудачествам доктора, его жалели за комплекс вины. Подумать только, преступление! Тягчайшее! И это преступление, и многие другие я готов был простить доктору. Но его доброта была лукавой, как местное вино. Его действия, лишённые всякой корысти, могли унести больше жизней, чем все автострады вместе взятые. Принести больше бед, чем все римские утопии. В конечном счете, между его благими преступлениями и импульсами филантрофага всегда оставался этот легкий трепет, таивший в себе маниакальность, который и составлял его обаяние. Но был еще другой. Тимоти Моретти, его спаситель, прибыл вместе с ним. И остался. Моя мать была в восторге. А почему бы нет? В конце концов, это они как нельзя лучше все устроили, поместив в рамки рациональности, я бы даже сказал, неукоснительной каузальности события, самой природой которых был хаос, а действующей причиной – скука.

Тимоти Моретти, валлиец из лесов, именуемый «спасителем», в прошлом чиновник Ее Величества на островах. Истинный знаток затерянных уголков. Гонконг был его пунктиком, а роковым для него ляпсусом стало слово «пидор». К этому мы вернемся завтра.

Я неизбежно должен был рано или поздно оказаться в центре их изысканий. Они позвали меня. Снова зашла речь об алмазах. До этого я с ними двух слов не сказал. Только время терять. Они почуяли и мое любопытство, и благожелательность к ним, непрошеным гостям.

– Мы знаем, что ты знаешь больше, чем сказал нам.

– Да и нет, – перебил его доктор.

– Верно, – перебил его Тимо.

– Все-таки, ты что-то слышал, ведь так?

– Что же, например?

– Говори, скажи хоть что-нибудь, нам все может пригодиться.

– Пригодиться для чего?

– Господи боже! Только не говори, что ты отказываешься внести свою лепту в дело!

Тимо улыбался, да, но о его ярости можно было судить по побелевшим ногтям.

– Я ничего не знаю. Две недели назад...

– Недурное начало, – кивнул доктор.

– Тихо! Так ты говоришь... две недели назад?..

Какой балет вытанцовывали руки этих господ! Они ждали от меня всего, а мне нечего было им сказать.

– И это все? Врешь!

Было темно, значит, я молчал не один час. Я был в крови. Значит, меня били. Туристы уже уехали. Значит, кто-то другой о них позаботился.

– Он очень хорош, просто чудо, этот новенький.

Это пришла моя мать. Она была в черном, она смотрела на меня, сжав губы, а ее голос шел со стороны. Она усмехалась по-вдовьи, не имея на это права. Ее тело плавно колыхалось, подавляя превосходством. Безумный смех таялся где-то в кухне.

Дама в черном поцеловала меня.

– Он, верно, растерялся, бедняжка, он ведь даже не знал о твоём существовании.

– И правда, – произнесла дама в черном своим замогильным голосом. – Ты уже не узнаешь свою тетю? Ах ты, мой бедненький. Вот увидишь, мы с тобой поедем в Париж. И ты забудешь весь этот кошмар.

А я смотрел на другую, в красном, белокурую, более чем белокурую. Моя мать расхохоталась.

– Бедняжка, не узнает меня. Он не знал, что волосы у меня белее снега. Да, малыш, теперь-то твоя мать уже не молода, но волосы у нее побелели в двадцать лет.

– Да, – подтвердила тетя, – когда умер наш отец в Тунисе.

Так значит, это была она, моя тетя, сестра-близнец. Она казалась чем-то удрученной.

– Я ухожу, сударыня. До завтра.

Какой-то мальчик чуть постарше меня невозмутимо взирал на нас.

– Уходишь? Но еще рано! Задержись-ка ненадолго. Ладно? Вот он будет работать за тебя в твое отсутствие. Поздоровайся с ним.

Я смотрел на вновь прибывшего, не видя его. А он не сводил глаз с моей матери.

– Ну что, он все вам рассказал, чертенок?

– Ровным счетом ничего!

– Надо же, а ведь несколько дней назад только об этом и говорил. Правда, во сне.

– В этом-то вся и разница, сударыня.

– Ничего, терпение, – сказала мать. – Жарко, надо чего-нибудь выпить. Антуан, принесите нам напитки. Все хотят пить.

– Но как же алмазы, Моретти?

– Хватит, вы всех достали вашими алмазами!

Никто не зажег ламп. Время от времени свет фар больших туристических автобусов выхватывал из сумрака величественные тени каменных гостей.

– Ладно, с меня довольно.

Это сказал Моретти, он был в ярости. Он уходил.

– Да что это на вас нашло? Постойте!

Это доктор побежал за ним вприпрыжку.

– Один другого хуже, – пробормотала мать.

Другой мальчик смотрел на нас, и с его губ не сходила презрительная улыбка. Мать схватывала на лету.

– Расскажите же нам! Что вы обо всем этом думаете? Вы можете сказать нам много интересного, я уверена.

– Сударыня, я очень, очень рад, что работаю у вас.

Внизу друзья-приятели выясняли отношения с неиссякаемым пылом. Вот тогда-то и состоялась некая церемония. Ее разыграли как по нотам все и никто. Этим «ником», как будет ясно в дальнейшем, был кот, наше все для всех, наш джокер, гарант и соблазн. Там, наверху. Виденный и перевиденный.

Две сестры сидели теперь за пианино, ни для кого выстукивая на клавишах грядущий вальс. А я в полном одиночестве напивался мадерой, никем не замечаемый и слишком занятый тем, чтобы обособиться.

При первых же звуках вальса вновь прибывший вышел из своей роли, не произведя ни малейшего шума. Застенчиво следуя ритму, он зажег свечи. И принялся танцевать – один. Тогда доктор и Моретти вернулись на цыпочках в комнату и тоже стали танцевать, каждый в своем углу. Так они кружились довольно долго. С закрытыми глазами. И тогда я сказал себе: что если кто-то оттуда, сверху, смотрит на нас? Сердце мое забилось.

Глаз, глаз Бога. Повинуясь инстинкту, я посмотрел на потолок. И увидел глаз. Я завопил. Все ходило ходуном.

– Никому не двигаться!

Они устались на потолок, все как один. Все было перерыто. Все мои игрушки разбросаны. Повинуясь инстинкту, я посмотрел вверх. И опять увидел глаз.

Довольно! Я поднялся по лестнице. Я должен был увидеть. Но нет, никого! Следы, правда, имелись. Я снова посмотрел вверх: кто-то открыл маленькое окошко, выходящее на крышу. Все были на улице. Стоял крик. А меня занимала только одна вещь. Та вещь, что висела на руке капитана.

– Малыш, – сказал капитан. – Мне очень жаль, что пришлось использовать твоего кота таким нехорошим образом. Но это было забавно, до чего же это было забавно!

Он посмотрел в сторону и стал умирать, но никак не мог умереть совсем.

– Я уйду, малыш, далеко уйду, очень далеко. Вот, возьми, я возвращаю тебе твоего кота. Он немножко порвался, но все же стоит на него взглянуть.

Смех душил его. Он попробовал встать, с трудом сделал шаг-другой и упал на крышу.

Я остался стоять с котом в руках. Боже милостивый, и правда, ради этого стоило сделать крюк. Распоротый, выпотрошенный, набальзамированный кот благоухал лавандой. А внутрь кто-то аккуратно поместил шесть, семь, восемь... стеклянных глаз.

– Иди сюда! – истошно кричала мать. – Будут еще землетрясения! Придется ночевать на улице!

Но я был уже далеко оттуда. Меня переполняло чувство величия подлинно захватывающей автаркии.

– Это кот! – кричали они. – Дайте же нам кота, черт возьми!

Я так и сделал.

Изо всех сил я раскрутил кота за хвост и запустил его на улицу, не задуравшись над разыгранной шуткой. Тишина. Наступила глубокая тишина.

Там, внизу, один глаз разбился. И из кошачьего нутра высыпалось не меньше дюжины крошечных алмазиков.

На остаток вечера нам нашлось занятие, мы приводили в порядок дом. Никто об этом не говорил, но одни только почти невидимые алмазики заполнили остаток их жадных жизней блаженным желанием.

Эти алмазы – я знал, что они ускорят события. Тем более следовало взвешивать каждое слово, каждый жест. Наверху доктор и Моретти допытывали умирающего, но безуспешно. Нет, он не умирал на улице. Хуже, много хуже! Он колосся, кусков набралось на добрую сотню несобранных головоломок.

Около полуночи доктор зашел к нам в кухню, где мы расположились на случай новых землетрясений.

– Он заговорил? – спросила мать.

– Говорил все больше о вас, сударыня, – сухо ответил доктор, – и еще...

– Что еще?

– Я имею в виду кое-какие африканские воспоминания.

– При чем тут Африка?

– Оказывается, вы вроде бы познакомились с вашим мужем где-то в Африке.

– Мне особенно нравится это «где-то».

– Что ж, политика... В конечном счете вас интересует политика, сударыня.

– Политика, что за вздор!

– Пари держу, вас это очень даже волнует... где-то!

– Ну, хватит! Слушать больше не желаю ваши намеки!

– О чем? Для меня этот план «Атлантида» – темный лес. Я никогда не читаю газет, палимпсесты меня раздражают. Так что можете часами распространяться о силовых отношениях и государственных переворотах. Во всем этом пустословии меня, смею сказать, интересует только одно – алмазы.

– Вот уж действительно, – фыркнула моя мать, – нашли интерес!

– Позвольте, сударыня! Мой отец был ювелиром.

– Ах вот оно что! Алмазы напоминают вам о детстве, понятно!

Тут снова трянуло.

– Ах, бедняга, – вздохнул доктор, – он этого не переживет. Он не выносит землетрясений. Говорит, что это единственное на свете, чего он по-настоящему боится, не считая коммунизма.

– Идите сюда, доктор! – позвал Моретти.

Они пробыли наверху еще час. За это время земля содрогнулась два или три раза. Я крепко спал, когда вошел доктор.

– Он хочет видеть малыша. Никого больше, – сказал он холодно, глядя на мою мать. – На сей раз кроме шуток.

Комнату освещала только одна свеча. В окружении наших теней капитан отходил.

– Иди сюда, – сказал он мне. – Иди, посмеемся вместе. Ты умница, ты больше поймешь за минуту, чем эти два олуха за всю жизнь. Иди сюда, я расскажу тебе. Я тебя, знаешь ли, очень люблю. Ты – наш, это видно сразу. Я отчаливаю, мне осточертел этот гнусный мир, оставляю вам ваши вулканы и ваши прогневшие

демократические режимы. Я ухожу. Ухожу с песней. Но прежде чем я уйду, ты должен дать мне обещание. Ты не можешь мне отказать – ведь это я убил твоего отца. Низкопоклонников, знаешь ли, ненавижу. У меня от них трясушка начинается. Кстати, доктор, боюсь, нам нужна еще бутылка. *Rapido, outra garrafa por favor!* А ты сиди смирно и не плачь. Это неправда, твоего отца убил не я. Мне следовало бы его убить. Хотя, заметь, вышло как лучше. Ну-ну, не плачь. Я даже пытался его спасти, когда нашел в туалете, а ведь, видит Бог, меня от повешенных блевать тянет. Да прекрати же наконец реветь! Было бы о чем! Я уверен, что он тебе даже не отец. Вот что я тебе скажу, и заруби это себе на носу: от трусов все беды на свете. Когда трус преставится, за это стоит выпить!

А я вовсе не плакал. Я не мог плакать.

– Ну же, выпей глоточек, это виски, вреда не будет. Твое здоровье! Так о чем бишь я? Ты меня слушаешь?

– Я должен вам что-то обещать, капитан.

– Ах да, обещание. Никогда не женись, понял? Особенно, Боже упаси, на негритянке. И еще вот, возьми, это тебе. Это все, что я имею: моя библиотека. Я мог бы стать образованным человеком, ты не знал? Ты должен дать мне обещание.

– Еще одно?

– Последнее. Прочти внимательно все эти книги. Если ты это сделаешь, без обмана, то станешь несметно богат. Как я. Но выполняя одно обещание, не забывая другое.

– Про негритянку?

– Smart Boy¹, – усмехнулся капитан. И уснул.

Подошел доктор и сказал:

– Он еще жив.

Потом он осмотрел мое наследство. Было его немного.

– Сколько же наш друг читал!

– Ничего удивительного, – отозвался доктор и поблел.

Он взял в руки одну книгу и тотчас выронил ее.

– «Мейн Кампф», – равнодушно обронил Моретти. – Я не читал. Интересно? Я хочу сказать, действительно так страшно?

– «Как завести полезные знакомства и преуспеть в делах», «Тайны соборов», «A noite ficou atras de Jan Valtan», «Всемирный жид», «Нефтяной заговор», «Летающие тарелки и Атлантида», «Остров сокровищ».

– Опять!

– «Галльская война», «Катары», «Третий глаз»...

Капитан мучительно хрипел.

А потом началось землетрясение. Настоящее.

– На улицу, – сказал доктор.

Их как ветром сдуло. А я не мог уйти, замороженный страхом капитана. Он встал на ноги. Подпрыгнул раз, другой, можно было подумать, что он танцует. Потом, держась за стену, посмотрел на меня в упор и произнес: ты мой сын... Попытался усмехнуться, но рот его открылся на непомерную ширину. Закрыть его он не мог.

Я захохотал как безумный. Он кинулся на меня, схватил за горло, притянул к своей разинутой пасти. Потом крутанулся и бросился в окно.

Ни один дом в деревне не рухнул.
Назавтра был праздник.

Глава VI

Полицейские приехали через три дня. Они долго говорили с моей матерью и тетей. Ни доктора, ни Моретти в доме не было. В конце концов они уехали ни с чем. У матери было заплаканное лицо. Она прошла мимо меня, даже не взглянув, и надолго заперлась в своей комнате. Тетя осталась со мной, вид у нее был серьезный и решительный. Повеяло прощанием навсегда. Но что за важность, я уже пришел в себя, все представлялось мне логичным и уместным, мировой порядок смотрел на меня алмазными глазами нового дня. Как заиграл в этом свете наш затерянный уголок! Оставалось только прочесть газеты, чтобы все это как следует уложилось в голове.

Тетя говорила, говорила, говорила. Ее хриплый и теплый голос запомнился мне пронзительным «друг мой милый», обращенным, несомненно, к кому-то, кто находился очень высоко и далеко в ее головке, много выше и дальше, чем я. С голосом связывались ноги – одна закинута на другую, – а с тем, что ему предшествовало, был связан запах, с которым мы еще встретимся.

– Бывают в жизни такие моменты, – говорила тетя, – такие моменты...
Бывает такое... Надо бы, надо было, и все-таки...

Ее ноги запомнились мне словом «до завтра». И даже строгим «послушай меня хорошенько».

Я понял, что моя мать уедет. Ее увезут полицейские. Из-за всех этих мертвецов в саду или еще где-то. А я должен уехать с тетей. Нет, это уж слишком. Я решил, что убегу, на этот раз без чемодана. Денег я накопил достаточно, чтобы прожить несколько месяцев. Попробую перебраться на континент.

Пора было прогуляться.

Там, вдали, снова пели лихие ребята. Почему бы не наведаться в последний раз? Хотя прилив уже начался, еще можно было забраться в «Горловину», туда, где вихрились ветры. Фонарь у меня был. Я уверенно шел вперед. Через некоторое время я тоже запел – последнюю песню, которую слышал от отца.

– «...и бутылка рома...»

– Я знаю эту песню, – сказал вдруг кто-то.

– Да ну?

– Это пиратская песня.

– Кто вы?

– Нас не так давно знакомили.

– Понятно, вы – тот, кто будет вместо меня в моем доме.

– В каком-то смысле да. Вам это, надеюсь, не слишком неприятно?

– Нет.

Он был по другую сторону пещеры, и я видел, как движется его керосиновая лампа.

– Что вы здесь делаете, – спросил он, «другой». – У меня-то свои резоны, я хотел свести счеты с жизнью. А вы?

– Я думаю.

– О чем?

– О жизни. И о смерти. Обо всем, что с нами происходит.

– Понятно, – кивнул «другой». – Все это уже не имеет никакого значения.

Скоро я буду далеко.

– Я тоже, – сказал я. – Очень далеко.

– Не дальше меня. Я буду мертв.

Он долго молчал, потом заплакал. И, размахнувшись, швырнул свою лампу в море.

– Да вы с ума сошли! Где вы?

– Я еще здесь. Могу я вам задать один вопрос – очень, очень личный?

– Валяйте.

– Вы кого-нибудь на этом свете любите?

– Да, наверно. Отца, мать.

Он иступленно захохотал.

– Я тоже, – выговорил он, – я тоже.

– Ну и что?

– Так поделитесь со мной. Ваша мать... вы ее любите, сами сказали. Что ж. Расскажите мне о ней.

Тут я все понял.

– Сожалею, но мне нечего сказать.

– Действительно, нечего.

Наступила долгая тишина. Я смотрел, как он исполняет что-то вроде пантомимы.

Каждое движение обладало странным свойством делать вас зеркально глухим. Это длилось долго и было еще надолго! Я непременно должен рассказать про эту тишину. Она состояла из волн, я отчетливо различал их. И я видел тесную связь волн и движений. Пантомима началась кружением, тотчас повторенным глубокими водами пещеры. Я увидел накатывающую высокую волну, ощутил ветер, словно пощечину. И горловина поглотила звуки. Разбились, переливаясь всеми цветами, волны. И, повинаясь пантомиме, скрылись брызги-осколки, и пещеру наполнила защитница-тишина, лишь бесшумно плясали тени от керосиновой лампы, которая никак не могла затонуть.

И тогда он прыгнул.

Я видел, как он ушел под воду. Точно эхо, едва намеченный прощальный жест лег тенями на стены горловины. Лампа затонула. И сразу же все звуки слились в некое подобие «мажорного лада», который не мог, однако, перекрыть голос моего врага.

– На помощь!

Я повернулся в своем углу. Он позвал еще два или три раза. Теперь его голосу вторили лихие ребята. Горловина подавала сигнал тревоги. Я был спокоен,

зная, что ему не продержаться до прихода спасателей. Рыбаки спешить не любят, ни одной ложки супа они не оставят недоеденной, чтобы помешать судьбе сделать свое черное дело.

Судьба, я читал ее в каждом движении вод, мне хотелось выкристаллизовать каждый миг отчаяния. Мой враг не сводил с меня глаз. Он больше не говорил, только бормотал невнятно. Это было признание. Как может ребенок так много всего понять за столь короткое время?

Губы тонущего мальчика подталкивали меня все дальше, туда, за грань. Он неслышно шептал мне о своих чувствах к моей матери. Демонстрировал в последнем подводном поцелуе то, что принадлежало им двоим. А я, кажется, улыбался. Я всего лишь не мешал ему тонуть. Но Боже мой, как же это затянлось! Его гримасы грозили лишить всей прелести преступление, занимавшее нас. Я гнал его от себя, повторяя: «Умри, умри!»

И он наконец понял. Стал спокойнее, лицо его в последний раз искажилось в поцелуе – теперь уж наверняка прощальном. Он застыл, и волны унесли его. В эту самую минуту вбежали рыбаки и заполнили пещеру. Я, наверное, стоял в театральной позе, потому что грянули аплодисменты, усиленные горловиной. И тут огромная волна вернула к моим ногам окровавленное тело врага. Я было попятился, но водоросли, которыми он был весь покрыт, опутали меня. Я упал на него, и ледяная вода полилась из его рта.

– Жив! – крикнул кто-то. – Он спас его!

И новый взрыв аплодисментов грянул над уснувшей деревней.

Ему уже дышали рот в рот. Рыбаки суетились. А я смеялся. Мне дали выпить, и я развеселился. Шутка вышла славная. Что скажут наши добрые рыбаки, узнав из уст самого утопленника, что я хотел его убить? Я решил, что с меня довольно. Вышел и направился к гостинице.

Я не заметил машины и замер на месте, когда вспыхнули фары.

– Зайчик...

Я узнал голос доктора.

– Иди сюда. Надо потолковать. Только не здесь. За домом следит полиция. Идем.

Он повел меня в гостиницу напротив. Трое рыбаков выпивали у камина. Увидев меня, они зааплодировали.

– Ты стал популярен, как я погляжу.

– Да ничего такого. Я хотел убить человека.

– Сильно! Ты весь промок. И кровь идет.

Так значит, это была кровь.

– Ну, так что?

– Ничего. Я должен сказать тебе пару слов. Мне надо срочно уехать в Фунчал. Меня ждут, и может статься, что в скором времени мы все отправимся туда.

– Куда – туда?

– Туда, куда поведешь нас ты.

– Я? Я должен вести вас куда-то?

– Я уверен, что ты сможешь, если вправду захочешь, показать нам дорогу туда.

– Но как, но почему, но...

- Где твои книги? Я имею в виду книги твоего отца.
- Моего отца?
- Книги капитана.
- Не знаю, где-то дома.
- Так вот, надо обязательно их забрать. Сейчас же.
- Но... мы ведь не можем войти в дом.
- Все в мире относительно.
- Через неделю.
- Это поздно. Сейчас. Идем.
- Я не могу.

Доктор пристально посмотрел на меня. Этот взгляд был мне знаком. Взгляд капитана в день его смерти. Доктор улыбнулся.

– Малыш, – сказал он, – ты, наверно, озяб, да? Порой мы, взрослые, бываем слишком суровы с вами, слишком многого требуем. Мы так легко забываем, что ребенок – это всего лишь ребенок, такой слабенький, такой...

- Да, – перебил его я. – Я слаб, я зол, я хочу спать. Надеюсь, вы это заметили.
- Конечно, заметил. Я врач, ты не забыл?
- К тому же меня ждет тетя, она, наверно, беспокоится.
- Она ведь, если я не ошибаюсь, живет у вас?
- Да, но ей не разрешается ничего трогать и тем более выносить из дома.
- Никто ничего и не тронет, ничего важного. Ты просто подменишь одну

вещь другой, точно такой же. Вот и все.

- Какую вещь?
- Даже не вещь, а книгу.

Доктор очень осторожно достал из кармана экземпляр «Острова сокровищ».

- Тебе наверняка знакома эта книга.
- Я ее еще не прочел.
- Тебя не спрашивают, прочел ты или нет, придурок!

Он был бледен, весь дрожал. Вдруг он рассмеялся.

– Да ты все понимаешь. Я вижу. Опять я дал себя провести, и кому – мальчишке! Решительно, я полный, ну просто полный идиот.

– Я должен идти, тетя велела мне вернуться пораньше.

– Так ведь все равно уже поздно. Давно уже поздно. Ни к чему слушаться тетю. Да и вообще, тетя – что это за птица?

- Я ухожу...
- Постой.

На сей раз это была она – моя тетя.

- Вот, возьми свитер, холодно. Пора, доктор, охранник спит. Пьян в стельку.
- Вы ангел, сударыня! – воскликнул доктор.
- Полежай в окно, малыш. Оно открыто. Твои книги лежат на кровати матери. Держи.

Она взяла книгу из рук доктора и дала ее мне. И поцеловала меня. Долгим поцелуем. Дело было сделано. Теперь он мог вертеть мною, как хотел. И она это знала. Я бегом пересек улицу. Обогнул дом. Охранник и в самом деле спал, раскинув руки, разинув рот, в позе исполнителя оперной арии. Была ночь полнолуния.

В доме царил величайший беспорядок: такой бывает, только когда вещи переставлены и переложены. Здесь все перерыли, все обыскали. Все будет перерыто и обыскано снова, еще дважды, трижды. Вещи заняли свои места, временные настольно, насколько это можно себе представить. Знакомые места побуждали меня двигаться быстро, перестановка же стала причиной падения. Я замер, ожидая, что сейчас проснется охранник, но вместо окрика «Кто здесь?» услышал ледяной смехок. Я медленно поднялся по лестнице. В последний раз я шел, ведомый скрипом, который был мне колыбельной в ночи детства. «Это не я поднимаюсь, – говорил я себе. – Это мой отец, моя мать. Это капитан. Все, кого здесь нет, со мной...» Скрипы множились у меня в голове. Я смотрел, я созерцал бесформенную грудку старательно разбросанных книг. Было, кстати, видно, что кто-то оставил вешки, чтобы знать, если что-нибудь тронут без разрешения. Нужная книга была наполовину скрыта за «Тайнами соборов». Торжественным жестом я заменил ее, но замер от раздавшихся смехков, затаив дыхание.

– Т-с-с!

Их было двое. Я узнал суку; другой стоял в тени, но его голос слишком о многом мне напоминал. Это он был сторонником крайних мер. Это он меня однажды ударил.

– Ты что-то ищешь?

– Мои книги.

– Книги? Ну-ка покажи.

– Да, старина, книги – и только. Видно, зря добирались в эту даль. Что только будет, когда расскажем орлу!

– Вдобавок придется забрать его с собой.

– Это еще зачем?

– Мало ли... Орел захочет задать ему пару-тройку вопросов, по крайней мере, я так думаю.

– Ты вообще много думаешь.

– А что с ним делать? Не убивать же.

Они посмотрели на меня. Потом один подошел ближе и погладил мои волосы.

– Видишь ли, малыш, я знаю, кто ты такой, но ты не знаешь, кто я.

– Ну, начинается, – вздохнул второй.

– Да, начинается. Имею я право сказать моему сыну, кто его отец?

– Малохольный!

– Тихо!

Кто-то поднимался по лестнице. Они выхватили револьверы.

– Сейчас посмотришь, каков твой отец. Ручаюсь, что ты в жизни ничего подобного не видел.

– Да ты и вправду больной на голову, – нахмурился второй.

Нет, больным он не был, он был уже мертвым. Второй запаниковал. Он трижды выстрелил, не целясь, а четвертый раз – в меня. И выскочил в окно – я это видел.

Я услышал еще выстрелы – и потерял сознание.

Глава VII

Все, что я вам сейчас рассказал, произошло у меня в голове в следующие две недели. Глубинная логика и логика плоская и фальшивая мучительно переплелись, как две сестры-близняшки, вцепившиеся друг другу в волосы. Так, допустим, что я все забыл. Я убежден, что я – взрослый. Без моего ведома какая-то чужая жизнь, вымышленная от начала до конца, внедрилась в меня с лихорадочно убедительной расчетливостью. Мне не терпелось стать этим взрослым, мнившим себя мной.

– Ладно, предположим, что ты и есть твой отец, – шептал мой внутренний голос. – Предположим, ты действительно убил меня. Но как же вышло, что ты живешь в моем раненом теле?

– Я завладел телом моего убитого сына, – отвечал я без особого убеждения.

Небесная синева лишь придавала правдоподобия такому положению вещей. Но закатное солнце слепило меня, усыпляло, и воспоминания об умершем расплзались по углам дома.

Где я был?

Я падал. Это единственное, что я знал наверняка. Я падал, а перед этим выстрелил в того, кого тоже считал своим сыном.

Тоже?

Внизу кто-то играл на пианино. Я попытался встать. Я шел по облакам, увлекаемый вальсом.

Среди сонма призраков я увидел себя в зеркале, которое удалялось от меня куда-то к неосвященным зонам дома. Сколько же было в этом доме дверей! Из-за одной, приоткрытой, и неслась музыка. Я вошел в салон-библиотеку. На пианино играла моя тетя, а Моретти с доктором танцевали. Повсюду были книги. Книга. Речь шла об одной только книге.

– Вот и он наконец-то! Живой!

Тетя перестала играть и поцеловала меня долгим поцелуем.

– Через неделю он будет совсем здоров. Я так и знал. Он у нас крепкий.

– Малыш, – причитала тетя, – бедный мой малыш. Тебе повезло, ты это знаешь? Как же тебе повезло!

Я не понимал, почему они говорили «живой». Я ужасно устал.

– Иди ложись. А если вдруг проснешься и почувствуешь себя лучше – вот возьми. Почитай немного, тебе пойдет на пользу.

Я машинально взял ту единственную книгу и вернулся в свою комнату. Тетя проводила меня.

– А мама?

– Она сейчас далеко, уехала на время.

– А мы уедем?

– Не сразу. Сначала надо закончить эту историю.

– Какую историю?

– Сокровища и все прочее. Тебе потом объяснят. Спи.

В этот вечер я еще раз проснулся около полуночи. Внизу бранились. Моретти был вне себя.

– Они не имеют права. Мало ли что военная база! Мы должны туда попасть!
 – ...визы...
 – Обойдемся. Нам помогут.
 – ...сезон дождей...
 – Я англичанин, сударь...
 – Рипли, с вашего позволения.
 – Я англичанин, мистер Рипли. Я люблю острова и дождь.
 – Не могу с вами согласиться, сударь...
 – Моретти, с вашего позволения...
 – Месье Моретти, я француз и не люблю безрассудных затей. Таких, как эта. Я – француз.

– Я тоже француз, мистер Рипли, но я еще и еврей. Я люблю... деньги? Нет. Славу? Возможно. Величие? До известной степени. Думаю, что я люблю безрассудные затеи. Такие, как эта, вы правы...

– Ладно, допьем эту бутылку.

Все были мертвецки пьяны. Моя тетя тоже сидела с ними.

– За то, чтобы это никому больше не послужило.

– Ваше здоровье.

Стало быть, все решено. Они все отправляются на поиски сокровища. Но что это за остров сокровищ? Надо было прочесть распроклятую книгу. Я открыл ее. Через две минуты она выпала у меня из рук.

Несколько недель я почти не выходил из дома. Спал днем, просыпался, когда темнело, и слушал разговоры взрослых. Говорили до поздней ночи. Мало-помалу головоломка собиралась. Каждый раз, перед тем как уснуть, я открывал книгу. И каждый раз откладывал ее. Мне было страшно.

Однажды вечером они ушли, когда было еще рано. Я остался один и смог наконец прочесть книгу. Я прочел ее всю и решил, что все понял. Мальчишки, да, меня окружали мальчишки. Они, стало быть, хотели отправиться на поиски сокровищ, но на какой остров? Что скрывалось за всей этой историей?

В мое окно ударился камешек. Потом другой. Я вышел в коридор. Мне было страшно. Из окна тетиной комнаты я посмотрел вниз – там кто-то был. Он свистнул и бросил еще камешек. Теперь я его разглядел – это был мой враг, воздыхатель матери.

– Привет, – крикнул он, – не прячься, я тебя видел. Иди сюда, надо поговорить.

Когда я спустился, враг обнял меня и поцеловал.

– Спасибо, – сказал он, – мне все рассказали. Ты спас меня.

– Это неправда. Наоборот, я хотел тебя убить.

Он засмеялся.

– Ты мог бы. И должен был. Но какой смысл, если я сам хотел умереть?

– Верно, – согласился я.

– Теперь я раздумал умирать, я хочу жить, чтобы спасти честь твоей матери. Имей в виду, все, что пишут в газетах, – ложь. Твоя мать – прекрасная женщина. Умная, честная, настоящая дама.

– Она сейчас далеко.

– Как – далеко? Она здесь, у меня с ней назначено свидание.

Он привел меня на улочку, выходящую к порту. По другую сторону причала был хорошо виден грузовой корабль.

– Осторожно, полиция следит за нами. Но твоя мать придет, через пять минут она будет здесь, она мне обещала.

– Я ничего не понимаю.

– Неважно, ты увидишь.

Он умолк и задумался. Он был где-то далеко, с ней. Подходящий момент, чтобы убить его. Мы стояли у самой воды. Я знал, что он не умеет плавать. Я вскочил и толкнул его. Он отпрыгнул и сделал пируэт.

– Ты хотел, чтобы я упал в воду? Да? Ты ревнуешь? Какой смысл сталкивать меня в море? Ты же знаешь, что тебе придется прыгать следом и спасать меня, потому что я не умею плавать. Ну, зачем?

– Мне не нравится, что ты говоришь о моей матери так фамильярно.

– Я люблю ее.

– Этого нельзя.

– Почему?

– Не знаю. Может быть, ты и прав.

– Конечно, я прав. Она – красивейшая женщина в мире.

Наступила пауза.

– Моя тетя тоже очень красива.

– Возможно. Но это совсем другое дело. Она более...

– Что?

– Не сердись, но, на мой взгляд, она немного вульгарна. Ты влюблен в нее, если я правильно понял?

– Нет, не в этом дело, просто она, по-моему, очень мила.

– Ты видел ее голой?

– Нет.

– Тогда ты не можешь знать.

– А ты – ты видел мою мать голой?

– Конечно.

– Ну, и?...

– Я тебе уже сказал. Она – настоящая дама. Ходит так, будто одета, честное слово, будто в платье, как твоя тетя. Я хочу сказать... Даже и не поймешь, голая она или одетая, вот она какая.

Да, моя мать была на причале. Она махала кому-то красным платком, прощаясь. Она махала, прощаясь, моему врагу.

И тогда я сбросил его в воду. Пока другие оказывали ему помощь, которой он не заслуживал, я вернулся домой и перечел последние главы книги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Из немалого количества астрономических данных (хотя нетрудно понять, что все эти скрупулезные описания движения звезд и завуалированные намеки на греческую мифологию попросту прикрывают изрешеченные тела мужчин и женщин после «зачистки», что имела место утром 21 мая 1967 года, кровавой бойни, оставившей неизгладимый след в судьбе одной тропической республики, стремившейся к самоопределению и сохранившей, несмотря на это, до наших дней название «остров сокровищ»), из всего этого сонма расчисленных звезд и млечных чисел я запомнил следующий тезис (стр. 35): «За каждым бестселлером, за каждой детской книгой, имевшей читательский успех, кроется священный текст»; и дальше (стр. 97): «Небо – подлинная карта кладов», а чуть ниже: «Мы должны найти связь между движением звезд и перипетиями волшебной сказки».

Книга Стивенсона была досконально изучена, прочитана и перечитана тысячу раз. Она послужила образцом для карты, с которой нам предстояло пуститься на поиски острова, где (это будто бы знал доктор) была та пещера, копия неба. А звезды и планеты в этом небе были, как нетрудно догадаться, сделаны из алмазов – настоящих алмазов. Где, спрашивается, можно было отыскать такое количество и такое многообразие камней, чтобы изобразить, хотя бы приблизительно, небесный свод? Доктор будто бы знал и это, но скрывал свои догадки, усмехаясь и ссылаясь на провалы в памяти.

Идея хорошая. На данный момент она, правда, была лишь подозрением, гениальной догадкой, как повторял Моретти. Очень жаль, что величайшие на свете идеи капризны и почему-то предпочитают посещать самые что ни на есть тупые головы. Да, Тимоти Моретти числил себя недалеким, и доктор принял это за неопровержимую данность: идея гениальна, а автор глуп, что как нельзя лучше устраивало доктора, гения без идей. Тем не менее партнеров для их затеи найти оказалось нелегко.

– Нет, нет, нет. Не может такого быть. Это невозможно, это смешно, и вообще это – чушь собачья.

Хулитель цедил слова сквозь листья островного табака, который он спешил сместать с жевательной резинкой, стоило посмотреть на него косо.

– Насколько я понимаю, он не согласен, и меня это удивляет, – сухо обронил Тимоти.

– Перед нами так называемый француз, – фыркнул доктор, – он путает логику со здравым смыслом.

– Я нахожу книгу увлекательной, во многом забавной. С сугубо военной точки зрения в ней написаны очень верные вещи. Мысль, что книга может таить секрет, нравится мне чрезвычайно.

Капитан следил за тем, как движутся руки остальных, и был прав: слова рисовали грядущие радости, а пальцы уже считали мертвецов; каждый мертвец стоил алмаза, целое состояние сплеталось из этих затейливых движений. Коверсамолет готов был к взлету, невзирая на злополучную жевательную резинку.

– ...в книге полным-полно ляпсусов и несуразностей.
– ...в этом и состоит ее прелесть.
– Хотите знать, где находится этот остров, согласно книге? Так вот, недалеко от Шотландии.

– Прелестно.

– По данным, почерпнутым из книги, составить карту невозможно.

Доктор где-то витал; ясное дело: он, вероятно, услышал далекие голоса, чем-то ему угрожавшие. Доносились они из прошлого, из иных миров или из порта, – догадаться было невозможно (но так или иначе, они пожирали его мозг). Он сделал колоссальное усилие, чтобы вернуться к нам. После болезненной гримасы, искажившей небо и оставшейся на первой полосе газеты, которая горела в камине, он с трудом произнес:

– Мы располагаем достаточными сведениями, чтобы поверить в обоснованность дивного делириума господина Моретти.

– Скажите ему, мы убеждены, что, хоть книга и является порождением богатейшей фантазии мистера Стивенсона, другие люди впоследствии использовали содержащиеся в ней сведения, чтобы спрятать подлинное сокровище.

Доктор ухитрился воспринять слабое подобие отголоска из некоего потустороннего мира, в котором он пребывал.

– Я думаю, мы слишком много внимания уделяли тому факту, что... – сказал он и впал в забытье.

– Но все ли вы знаете, капитан?

– Нет.

– Ну вот. А должны бы знать, не правда ли? Даже ребенок, вот хотя бы он, и тот бы понял.

Но он не смотрел на меня. Он смотрел в огонь. Уже целую вечность горело там лицо мальчика. Доктор принялся тихонько напевать пиратскую песню.

– Там поют, – произнес он недобрым голосом.

– Говорят, что Стивенсон под конец жизни использовал ориентиры из этой книги, чтобы спрятать свою прославленную коллекцию старинных монет. Это ни для кого не секрет, об этом писали в газетах. Многим современным пиратам эта книга служила картой, когда они прятали свои сокровища. Более того. С некоторых пор поговаривают о существовании некоей мегалокарты кладов, если найти ее, можно узнать местонахождение сразу всех кладов мира – их триста шестьдесят пять.

– Звучит заманчиво, – с сомнением протянул капитан.

И тут доктор вскочил и выбежал прочь. Его далекий голос еще долго оставался с нами.

Это был он, пресловутый ковер-самолет, о котором я только что думал; его основа из Ариадниных нитей пыталась со всем почтением задушить нас, а голос, между тем, просачивался в наши уши, шепча бездыханно:

– Я теперь уже далеко. Где? Я не знаю. Мое правое ухо зовет меня в порт, где поджидают убийцы без сучка и задоринки, левое зовет в горы, где ждет один убийца, одноглазый. Об этом двойном кровопролитии расскажут завтрашние газеты. Знайте, что моя смерть, если ей будет сопутствовать точно такое же двойное убийство, вернет меня к вам невредимым и это будет последняя моя жизнь.

Лишь бы я не убивался в поисках выхода, подвергая эту последнюю жизнь опасности. Да, я знаю, отголосок моей истории не много вам скажет, разве только то, что я уже далеко. Я всегда мечтал о бегстве через мой двойной слух.

До сего дня то, что я слышал правым ухом, было равно тому, что я слышал левым. Таким образом, я твердо знал размеры моей тюрьмы. Лишь три месяца назад в моем акустическом пространстве возникло своеобразное эхо между словами, звучащими в унисон. Благодаря этому резонансу я стал легче и, главное, экономнее в пространстве, то есть я хочу сказать, что сейчас только обертона проникают в мои пределы и могут (иногда) вырвать меня из моего оцепенения, которое вы принимаете за учтивость. Их душераздирающая музыка влечет меня в сторону левого уха и правого одновременно. Однако же всякий раз мне приходится выбирать. Это худшее, что могло со мной случиться. К тому же мы в провинции, и все то, что говорится вокруг, меня касается. Все возводимые на меня наветы зовут. Я смотрю вокруг, и низшая точка каждой из моих крайних величин воплощается и увековечивается в слове мщения. Я погиб.

Доктор появился вновь. Впервые я видел его пьяным, и своим бессвязным бредом он смог добиться от капитана единственного доброго слова, которое я когда-либо от него слышал:

– Доктор, – сказал он, – вы поэт. Я уверен в этом, потому что понимаю все, что вы говорите. Да, у моряков и поэтов много общего. Все, сказанное вами, прекрасно и одновременно очень полезно. Я тоже живу узником всего, что я слышу справа и слева. На меня тоже безжалостно возводят наветы, я окружен злодеями и убийцами, подлыми душонками. Ваша речь убедила меня, по крайней мере, в одном. Вы и я – вместе мы сумеем вовремя пресечь любой мятеж. Да, доктор. Я не прощаюсь, мы еще вернемся к этому разговору.

– Мне странно слышать это от вас, – поморщился Моретти. – Мятеж в двадцатом веке? Вы вправду в это верите?

Капитан выругался и ушел.

Вот тут-то и вернулся доктор. Он был бледен, на лице распласталась свежая рана. Ни дать, ни взять осьминог, утонувший в банке с вареньем.

– Красивая у вас рана, доктор, – сказал Моретти.

Решительно, мягкий сумрак и далекая гроза сделали наши души терпимыми и любопытными.

– Меня хотели убить.

– Кто?

– Кот, – сказал доктор. – Меня заманили в кухню с помощью заминированного кота. Я успел выбросить его в окно, прежде чем он взорвался, бедняга.

– Я не слышал взрыва.

– Он совпал с раскатом грома.

– Что-то все больше и больше совпадений в этом деле.

– Вот! – вскрикнул доктор. – Вот он опять!

В дверях гостиной стоял, пристально глядя на нас, черный кот.

– Бежим отсюда, скорее, сейчас он снова взорвется!

– Вы думаете, он способен взорваться семь раз?

– Бог мой, это другой, другой!

Сколько же их было? Три, четыре?

– Семь котов. И все взорвутся, бежим скорей!

Их как ветром сдуло.

Я остался один среди оголодавших котов. Они сгрудились вокруг камина и замаякали, глядя в огонь. Их было только шесть, и что-то заставило меня присоединиться к ним. Они даже не заметили моего присутствия. Они смотрели на горевшую в камине мою фотографию.

Это был я и в то же время не я. Снимок в старой газете, кто-то похожий на меня головокружительно сгорал, непонятно чему улыбаясь. Это был мой отец. Статью в газете легко можно было прочесть. Фотография отца наклонилась и стала читать написанное вверх ногами. Я прочел следом:

«Вчера вечером в ливанской пиццерии имел место чрезвычайно серьезный инцидент, навсегда опорочивший одно из самых посещаемых мест в нашем городе. В среду, одиннадцатого, около полудня человек лет тридцати занял столик и потребовал обед. Ему принесли меню, однако в этом меню вместо блюд значились имена людей, разыскиваемых полицией. «Вот дежурное блюдо», – сказал официант и ткнул пальцем в имя самого клиента, который, тотчас поняв, что попал в западню, принялся палить из пистолета во все стороны и ранил несколько случайных посетителей. Хозяину ресторана пришлось пристрелить его из охотничьего ружья».

Фотография моего отца сморщилась и захохотала.

– Кто ты? Убийца или убитый? – спросил я его с заговорщическим видом.

– Это было в твой день рождения, – ответил он. – Я купил фейерверк. Ты ведь любишь фейерверк? – спохватился он встревоженно.

– Обожаю, – заверил я.

– Что ж, happy birthday, – сказал он и исчез.

Коты стали весело взрываться.

– Спасибо, папа, ты замечательно придумал.

– Я рад слышать это от тебя.

– Я и не знал, что фейерверк может мякучать. Да так громко.

– Правда? Это, верно, очень дорого стоило.

– Очень, очень дорого.

– Еще раз спасибо тебе. О Боже, мы забыли позвать маму! Она ужасно рассердится.

– Боюсь, что да.

– Давай ничего ей не скажем?

– Давай. Omerta.

– Omerta.

Глава II

Только я закончил чтение «Признаний африканской женщины», как от мощного взрыва вылетели стекла. Молочно-белый язык вспыхнул посреди бушующей бури. Растревоженный город проснулся, осветился и опустел одновременно с моим

левым глазом. В больнице меня навесит дядя. Сам он с детства испытал все мыслимые невзгоды. От него я узнал, что имею право требовать компенсации.

– Глаз – штука дорогая, – сказал он и, не считаясь с приличиями, долго заговорщически подмигивал мне.

Так я окривел. Мою охоту к чтению это только распалило. Не считаясь с запретами, я ухитрился раздобыть газеты и узнал из них, что сын женщины, которую я любил больше всего на свете, еще жив. Он сильно обгорел, и было мало надежды на то, что его удастся спасти.

Я непременно должен был его навестить.

В побегах я поднаторел с малых лет, так что мне не составило труда в тот же вечер улизнуть из больницы и еще до полуночи я был в клинике для богатых.

Там, на четвертом этаже, лежал обгоревший мальчик. Ему сделали три операции. Он с трудом дышал, и вдохи, и выдохи его перемежались хохотом безумца. Он вращал глазами, видимо, не в состоянии ни на чем сосредоточить взгляд. Моего присутствия он как будто не заметил. Моим долгом было сделать то, что я сделал: я сел перед ним и начал читать вслух «Признания африканской женщины».

«Звезды – моя родина», – говорила она, представляясь. О происхождении своей семьи она узнала благодаря одному роману, написанному в конце восемнадцатого века.

В этом романе, написанном ломаным языком и пересыпанном забавными находками, рассказывается о том, как, где-то году в 1770, два французских дворянина прибыли в Мали. Их сопровождала небольшая свита, состоявшая из трех египтян, португальца и двух мальтийцев. Они привезли с собой гроб и сразу же по прибытии похоронили его, сообщив созванным для этого вождям, что намерены произвести земляные работы на холме, расположенном неподалеку от могилы. Весьма дорого заплатив за право воздвигнуть на этом месте храм, они немедля принялись за дело и выкопали вокруг холма несколько рвов, после чего возвели укрепление.

Строительство продолжалось целый год.

К несчастью, мор выкосил большую часть отряда. Выжили только оба француза и один мальтиец. Они решили отправиться восвояси. За год они успели обзавестись друзьями среди туземцев, поэтому неудивительно, что перед отъездом один из вождей преподнес им в дар юную принцессу. Они пообещали, что увезут ее в Европу, выдадут замуж за принца и вернуться не позднее, чем через год, с европейской принцессой, чтобы отдать ее в жены африканскому принцу.

Путешественники отбыли, и вскоре все забыли о них. Развалины храма-укрепления поглотили пески. Но прошло несколько лет, и в те края снова прибыл белый отряд. Он состоял из молодых солдат, босых и оборванных, сопровождавших юную светловолосую девочку. Ей было не больше четырнадцати лет, да и свита выглядела ненамного старше. Не обращая никакого внимания на охотников, которые вышли их встретить, юноши затеяли нечто вроде игры в жмурки, чем сильно всех озадачили. Затем они попросили напиться и смешали воду,

которую им подали, с каким-то сиропом цвета крови, еще посмеялись и поболтали, не удостоив даже взглядом ошеломленных такой наглостью охотников, легли вздремнуть в тени единственного дерева в округе. Проспали они до следующего утра.

Когда их разбудили, чтобы предложить скромный завтрак, девушка наконец заговорила с охотниками. Она обратилась к ним на их языке и произнесла довольно длинную речь. Видно, девушка заучила ее наизусть и потому не ожидала того, что произошло, едва лишь она умолкла: охотники увели ее в хижину и хлестали там плетью до вечера. Затем ее раздели донага, закутали в покрывало, которое (но об этом стало известно много позже) изображало небесный свод, и отвели в ближайшую деревню, где отдали в жены одному из охотников. Юношей же, сопровождавших ее, несколько дней спустя убили, следуя указаниям, которые она сама дала, не ведая того.

Год белая девушка прожила среди охотников. Она была беременна, когда, дойдя до предела отчаяния, решила бежать. Пять дней шла она по пустыне, а на шестой разрешилась девочкой. Она закопала еще живую малютку под засохшим деревом, всю ночь молилась над ней, а поутру вскрыла себе вены. Когда снова стемнело, пришли гиены и сожрали ее.

Гиены вернулись туда и на следующую ночь; видно, они учуяли зарытого младенца и откопали его. Приняли ли гиены девочку в свою стаю, или ее спасли лихие люди пустыни – этого никому никогда не узнать. Известно только, что, когда она явилась в деревню своего отца, чтобы отомстить, о ней уже ходили легенды и во множестве песен воспевались ее подвиги целительницы и укротительницы звезд. Свита из слепых гиен сопровождала ее, и от ее смеха смолкли все барабаны. Дочь кинулась к отцу, и все думали, что она хочет его обнять. Отрубив ему голову, принцесса взяла ее в руки и дунула в губы. Тут произошло нечто необычайное: она подбросила голову высоко вверх, губы отца раскрылись, и из них вырвался душераздирающий вопль, от которого все почему-то рассмеялись. В этот миг случилось затмение солнца, и никто не посмеет отрицать, что заслонила солнце не луна, а голова охотника. Как бы то ни было, голову так никто никогда и не нашел, а тело было растерзано гиенами, и куски разбросаны в семь равноудаленных точек, отмеченных еще в пору работ первой экспедиции.

Сделав свое дело, дочь гиен скрылась; удерживать ее никто не посмел. Прошло три года, и не меньше сотни хвалебных песен было сложено во славу ее. На третий год, в конце сезона дождей, разнесся слух, что юная принцесса появилась в наряде воина, чтобы с оружием в руках дать отпор работорговцам. Со всех концов сходились охотники, чтобы примкнуть к ее войску. Мятеж бесславно закончился два года спустя. Охотники были разбиты и во исполнение ритуала, напомнимшего о конце других войск, обращенных в бегство пять веков назад отрядами султана, совершили самоубийство с проклятиями в адрес отрядов губернатора.

О принцессе же вот что рассказывает песня, которую и по сей день поют гриоты в тех краях:

«Во время одной страшной битвы, в которой не сносили головы не меньше трех тысяч работорговцев, охотники нашли спрятавшуюся за тушей убитого верблюда чернокожую рабыню дивной красоты. Было решено отдать ее в жены

одному из старейших вождей племени (ибо таково было необходимое условие при освобождении любой рабыни). Однако вмешался предводитель охотников, напомнив тому, что у него уже есть четыре жены (ни для кого не был тайной истинный пол предводителя, но согласно обычаю ему полагалось иметь по меньшей мере трех жен). Предводитель заявил, что, если ему посмеют не отдать эту рабыню, он готов бросить войско и уйти навсегда. Тут только все заметили, что пленница и предводитель похожи как две капли воды.

С тех пор они были неразлучны. Иса (так звали принцессу-освободительницу) надыхаться не могла на Муну – пленницу. Об их противоестественной любви сложили песни гриоты, и в считанные месяцы она вызвала смятение и ярость в мятежных племенах. Вскоре войско Исы было обращено противником в бегство. Это первое поражение совпало с началом великой суши, которая продолжалась три года. В это же самое время мор стал косить туземцев. Никто больше не сомневался, что это Иса и Муна своей любовью прогневили звезды, и было решено сжечь их на жертвенном костре. Только в день жертвоприношения, когда жрецы уже приступили к делу, обнаружилось, что Муна – мужчина. Он сказал, что его мать – африканская принцесса, которую отдали в жены дворянину Версальского двора (который на самом деле был актером, исполнявшим роли принцев в операх, что давались для короля) и что взамен белая принцесса (в действительности юная актриса из той же труппы) согласилась стать женой одного из братьев черной принцессы. Сыном черной принцессы был Муна, дочерью актрисы – Иса. Стало быть, они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой.

После долгого спора, речь в котором шла о двойных звездах, было решено отпустить обоих, и влюбленные навсегда покинули королевство охотников».

Так вот, женщина, которую я любил больше всего на свете, та самая «африканская женщина» была уверена, что она – правнучка Исы.

История могла бы на этом закончиться, но есть еще эпилог (написанный, сразу видно, кем-то другим, не столь склонным к ярким и цветистым метафорам), в котором говорится, что от союза Муны и Исы родилось семеро детей, три мальчика и четыре девочки. Ни один из них не дожил до трех лет. Их унесла неизвестная хворь, – больше ею никто не болел. По словам автора эпилога, дети высыхали, становясь похожими на фигурки из песка, и через несколько недель, без боли и мук, рассыпались в пыль, и ветер уносил их. Иной раз в воздухе оставалось висеть лицо, словно облачко, а с наступлением ночи эти лица фосфоресцировали в темноте и становились почти неотличимы (до того вечными они выглядели) от звезд небесных. Порой светящиеся черви копошились среди мерцающих пылинок, и с небесного свода смотрели лица мертвых детей, насмешливыми гримасами веселя и пугая крестьян. Иса и Муна решили не заводить больше детей. Они прожили вместе тридцать лет, кочуя из деревни в деревню, Муна пел, а Иса рассказывала истории.

Однажды их пригласил к себе один старый охотник и попросил Ису рассказать самую длинную историю, какую она только знает. До сих пор ни одна из ее историй, с какими бы то ни было перипетиями, не требовала больше часа внимания. И она решила собрать воедино все истории и перемешать их с перипетиями

собственной жизни. Она начала свой рассказ. Время шло, и все новые и новые истории, можно сказать, рождались в ее устах; они на глазах росли, жили и умирали. Охотник, заслужившись, позвал всех своих жен и всех детей. Так они и сидели, окружив старую женщину, которая разрешалась историями, лишь иногда прерываясь на час, чтобы поспать или поесть. Так прошла неделя, другая третья. Миновали три месяца, четыре. К концу четвертого месяца Иса обнаружила, что она беременна и скоро родит. Никто не заметил ее положения, так обуяла всех жажда историй, так заморозили нескончаемые перипетии.

Один только Муна видел все и все понял. Ему дано было лицезреть таинство женщины, оплодотворенной собственными фантазиями. Хотя он и знал многие истории жены, его тоже заморозили новые перипетии, которые она придумывала по ходу повествования. Он плакал и смеялся, очарованный приключениями Исы и Муны. Однажды ночью, спустя месяц после того, как Иса начала свой рассказ, Муна почувствовал, что в шатре появились новые слушатели. Они были невидимы, но он слышал их, ощущал, чуял. Ему трудно было это признать, но то были его собственные умершие дети, рассеянные по небу. Все они пришли послушать свою мать. Они пришли навсегда. Как внемлющее созвездие. Рассказчица вдыхала их, и они становились духом истории; они были голосами героев, они убажгали и тревожили слушателей, вызывая то смех, то страх. И они же вновь сделали плодотворным чрево своей старой матери.

Десять месяцев рассказывала Иса свою историю. Ее беременность была уже всем заметна, но никого не удивляла: она тоже стала частью истории. Прошло двенадцать, четырнадцать месяцев. Крылатая молва привлекла паломников со всей округи, а потом и из соседних стран. Городу дали новое имя, он стал называться «город, где витают истории». Так прошло два года. На третий год в сезон дождей Иса поняла, что скоро умрет. Она хотела закончить свой рассказ, но было поздно: вместе с дождем новые истории прихлынули к устам Исы. Она поняла, что истории убьют рассказчицу. Тогда, в отместку, Иса решила сама убить свои истории. Она замолчала. Великая тишина наступила в деревне. Она длилась целый день. Стих дождь, смолк гром. И мало-помалу слушатели осознали, что все они тоже стали немые – безвозвратно немые. Они поняли, что истории навеки сковали их языки. Прошла неделя, как Иса умерла, а охотники, их жены и дети все сидели неподвижно, не ели, не пили. Сидели и медленно умирали.

И тогда заплакал ребенок.

Муна вскочил на ноги, своим острым мечом рассек живот жены и извлек младенца. Он показал его охотникам и провозгласил: «Вот мой сын, сын моих детей. Вот мой отец, мой дед. Его зовут Бесконечный». Грянул и прокатился долгим эхом по деревне хохот, и все враз заговорили: они сами стали рассказчиками. И деревня отныне называлась «деревней рассказчиков».

А Муна и Бесконечный исчезли, и никто никогда их больше не видел.

Вот что рассказывала африканская женщина. Бесконечный, уверяла она, был ее дедом.

Когда я закончил чтение, было почти три часа ночи.

– Я приду завтра вечером, – сказал я. – До встречи.

Я был доволен собой. Что ни говори, а на свой лад я отомстил.

Глава III

И я пришел завтра, и послезавтра, три дня кряду я приходил читать обгоревшему мальчику «Признания африканской женщины». Пока я читал, его глаза не отрывались от моей пустой глазницы. Когда же чтение было окончено, я счел нужным добавить кое-что от себя:

– Это была твоя мать...

– Моя мать, – повторил он.

Опять посмотрел на мою глазницу и усмехнулся:

– Глаз Бога...

И тогда я, отныне единственный обитатель этой ледяной и прозрачной пещеры, решил покончить с этим раз и навсегда. История африканской женщины потрясла меня сильнее, чем все последние события. Я должен был отправиться на поиски этой женщины, я любил ее, я ее ненавидел. Особенно невыносимо было думать о ее глазах.

– Увидев глаз, он стал совсем маленьким. Теперь он в нем живет, – вещал загробный голос.

Истинная правда: рисунки на стенах этой просторной пещеры походили на недреманные звезды. Эти алмазы, опороченные искусным освещением, воспетые завываньями (но кто это завывал – не я ли, из своего далека, еще и сейчас подражаю воплям умирающих?) – и были тем, что надлежит впредь именовать «сокровищем».

– Когда он посмотрел на себя в зеркало, он завопил...

– Как это?

– Да, доктор, он испугался своего глаза. Правда, нам не удалось найти более подходящего цвета.

– Какого он цвета?

– Зеленого, доктор.

– Какой ужас!

– Мы не нашли ничего лучше, но стоит ли из-за этого расстраиваться?

Огромная раковина стала вращаться вокруг меня, рисунки на стенах закружились в вихре, увлекая меня вверх. Нет, то была не раковина, а купол собора, и меня уносило к горным высотам: к свету пронзающего глаза. Из самой его середины падали мне на голову темные камни. Нет, не камни то были, скорее птицы, сбитые влет жаром алмаза. Но какого алмаза?

– Он все время повторяет слово «алмаз», доктор.

– У него губа не дура. Это, верно, целое состояние.

– Вы думаете, это правда?

– Правда, друг мой, правда.

– Он просыпается, доктор.

Они были здесь оба – доктор и кто-то другой, кого называли доктором.

– Уж извини, мой мальчик, ничего другого не нашлось, придется тебе привыкать.

Я увидел в зеркале свое лицо. Ничего не скажешь – стеклянный глаз на этом мертвенно-бледном лице, моем лице, «смотрел». На меня. Он видел во мне кого-то иного.

– Ну вот, опять, доктор.

– Но это же невысказано, в конце концов, – чтобы человека гипнотизировал собственный глаз?

– Это не совсем его глаз, доктор.

– Чей же он?

– Покупной. Он поносит его, пока мы не найдем глаз цветом поскромнее.

– А я был бы рад носить такой чистый глаз.

– Перестаньте, доктор.

Тут вошел грузный человек почти двухметрового роста и раскатисто захохотал.

– Ну, как себя чувствует наш герой?

– Сынок, – сказал доктор, – нам надо кое о чем потолковать.

– Да, – согласился другой. – Во-первых, что ты здесь делал?

– Он читал.

– Это я знаю, но с какой стати? Беспokoить человека на смертном одре с единственной целью прочесть ему непристойные признания его матери – как-то наглость!

– Ему это было необходимо.

– Вот как? И зачем же? Он умирает, знаешь ты это?

– Да, знаю, туда и дорога, вот что я скажу.

– Ну, это уж слишком!

– Он пытался убить меня.

– Ничего удивительного, – сказал доктор. – У этого мальчишки весьма своеобразное чувство юмора.

– Он хотел убить меня дважды.

– Ты знаешь почему?

– Я любил его мать.

– В твои годы?

– Мне пятнадцать лет.

– Маловато. Ей под сорок.

– Дело не в этом. Он что-то знает и хочет во что бы то ни стало от нас это скрыть.

– Сомневаюсь.

– Когда его нашли, в левой руке у него был алмаз.

– Вот оно что, – сказал я. – Ну, так я ничего не знаю. Это он вложил его мне в руку.

– Он же не может двигаться!

– Еще как может, он запустил в меня пепельницей.

– Это меняет дело.

– Это ничего не меняет, доктор.

– Стало быть, это он.

В комнату неслышно скользнула женщина. Она стояла, наполовину скрытая ширмой. В руках у нее была рукопись той женщины, которую я люблю.

- Вы прочли? – спросил доктор.
- Это ужасно, я даже не подозревала, какую жизнь вела моя сестра. Я... я...
- Это и правда скандал, – сказал тот, другой. – Но я уверен, что все это от первого до последнего слова – чистый вымысел.
- Еще не легче!
- Больше всего тревожит то, что нет и намека на раскаяние.
- Это скорее успокаивает. Вот только...
- Я понимаю, куда вы клоните.
- Эротические сцены – это отвлекающий маневр.
- Час от часу не легче!
- В этих мемуарах кроется нечто в высшей степени пристойное.
- Какой кошмар!

Голос стрекотали где-то вдалеке. Я видел из глаза, как объясняются эти люди там, вокруг постели. Видел я и себя: я встал, и те замерли, прервав свой танец. Я видел себя мельком, полускрытого неподвижными фигурами, тоже замершего, будто в ожидании. Дорогу мне преградило зеркало.

- Он спит, он бредит, – перешептывались те.
- Бросьте, он просто себе нравится, вот и все.
- Ему нравится глаз.
- Смотрите-ка! Доктор, идите сюда, вас это должно заинтересовать. Подойдите, ближе, еще ближе. Взгляните на глаз.
- Интересно.
- Что это?
- Как будто что-то бесконечно малое наблюдает за нами из глаза.
- Что же?
- Земляной червь.
- Мне отвратительна больничная нагота.
- Ничего страшного, сударыня, ему ведь нет и пятнадцати. В его возрасте зрекция не направлена.

Вращался, кажется, мой глаз. Он вошел в орбиту. И я сам кружился до головокружения вокруг камеры-клары.

- Это не червь, скорее пчела, замурованная в глазу. Или, вернее...
- Говорите же.
- Глаз.
- Еще один!
- Этот глаз – механизм. Надо его вскрыть. Помогите мне, доктор.
- Постойте, осторожно, он кусается!
- Что вы делаете? Не смейте трогать больного! Вон!

Я проспал весь день. Меня с трудом добудились, чтобы выставить вон. Я пришел к дяде и увидел приколотую к его двери записку. Мой дядя уехал. Куда-то далеко.

Я никогда не доверял письмам с минимумом отличительных признаков. У этого не было ни орфографии, ни каллиграфии, его написал не некто, а никто. Подумав, я решил зайти с черного хода. Дом был ограблен, но как-то безлико.

Без повода, без цели, без особого желания. Все осталось на местах, в том числе и дядя – он спокойно занимался своими делами. Мой дядя был человеком слова. На толкование того единственного слова, которое он запомнил, наверно, еще до рождения, ушла вся его жизнь. Слово это было «деньги», и обозначающий его иероглиф – зрячая ладонь – был прибит над дверью кухни; это единственное, чего не хватало в доме после ограбления.

– Искали деньги, а нашли только иероглиф, – усмехнулся дядя.

– Это ты написал записку?

– Левой рукой?

– Без подписи.

– Значит, я, – отозвался он из своей пирамиды. – А что в ней было, в этой записке?

– Ты написал, что уехал.

– Далеко.

– Вроде бы.

– Значит, я.

– Ты уезжаешь?

– Возможно.

Он наконец зажег свет, и я увидел страх на его лице. Он знал, что ему грозит опасность.

– Но я же ничего не сделал. И ничего не видел.

– А что ты хотел увидеть?

– Ничего.

– Значит, все правильно. Ты и не мог ничего увидеть.

– Объясни мне тогда, зачем они приходили?

– Кто?

– Одноглазый и его дружки. Что им от меня было надо? Зачем они дали мне это? Им бы все у меня украсть, а они сунули вот это мне в руки. Этот-то, наверно, фальшивый, а остальные...

– Что – остальные?

– Думаю, настоящие.

– И что же?

– Я их проглотил.

– Как проглотил?

– С супом: ложку за маму, ложку за папу.

– Был среди них маленький старичок?

– Да, он-то как раз хуже всех.

– А одноглазый?

– Человек с зеленым глазом?

Тут он в первый раз посмотрел на меня. И понял наконец, чего он боится, – подумал, что понял.

– Как ты, – произнес он. – Им бы все у меня отнять, а они вместо этого все мне дали.

– Они учли твою боязнь, – сказал я, чтобы заполнить паузу, зияющую у него в животе.

– Я не боюсь, я просто хочу кое-что понять, вот и все. Вот как было дело: они пришли, учинили у меня шмон. Могли бы все забрать, но и не подумали, а мой бледный вид их ужасно насмешил.

Теперь он видел только мой глаз, а я видел только его взгляд.

– Ты хочешь убить меня, правда? Я сглупил, да? Я выдал свою тайну. Ты знаешь, что я ношу на себе несметное богатство, так почему бы нет? Лови момент, давай же, чего ты ждешь?

В руках у него уже был нож, и он выписывал им вензеля в воздухе.

– Дядя, дядя, Бога ради, отдай мне нож!

Глаза его закрылись. Когда же он успел пораниться? Он завопил как оглашенный:

– Спасите, помогите, племянник хочет меня убить!

Он прыгал со стула на стул. Я смотрел на него, и мне было смешно. В конце концов, он упал.

– Ну вот, – произнес детский голос. – Поздравляю, капитан.

– Придется все здесь отмыть.

– Да, – сказал я, – мой дядя трусоват.

– Поэтому вы его убили?

– Стоило бы. Лучше помоги-ка мне все отмыть.

– Я-то думал, только малые дети дрищут так красочно.

– Хорошее дерьмо, а, капитан?

– Дерьмо как дерьмо, хороши алмазы.

– Значит, надо пройти через это, чтобы добраться до алмаза?

– Да и то не всегда удается.

Я взял дядины деньги и дал ему одну банкноту.

– Спасибо, – поблагодарил мальчишка, – спасибо, капитан.

– Бери.

– И это тоже?

Он смотрел на алмаз с опаской.

– Когда отмоешь его хорошенько, он не будет вонять дерьмом.

– Я вам не верю, капитан.

– Откуда ты знаешь, что я капитан?

– Вы носите глаз.

– Верно.

Глава IV

Надо полагать, одноглазость осенила в тумане тубулярной благодатью молодожена-пожарного. Первое, что он сделал при виде простоволосой и почти нагой невесты перед всей этой двуглазой публикой, – к вящей радости калек в охваченных пламенем окнах, – закурил сигарету, от которой и затлел эфемерный огонек.

Верно говорят, что где пожарные, там и пожар, но чтобы обычный окурочок повлек столько безобразных увечий, – такого я и представить себе не мог. Со свойственным мне благоразумием я предпочел закрыть глаза. Однако, имея в

наличии только один, я считал своим долгом повторить движение дважды и в промежутке увидел вот что: невеста была подмочена собратьями пожарного, ее новоиспеченный муж скакал на одной ноге вокруг своего протеза, больные в восторге размахивали костылями и культями, инвалиды из Африки распахивали свои набедренные повязки, а единственный безногий без дураков пускал слюни и загибался. И все это у самого порога преступления, в моем доме.

Разумеется, квартал уже несколько часов как оцепили. Свадьба была лишь предлогом, и дождь из пожарных брандспойтов не мог скрыть настоящего дождя, всерьез зарядившего с небес.

Я покинул авансцену, проскользнув между двумя ливнями, которые никак не могли соприкоснуться.

Я был спасен – по крайней мере, в тот момент я так думал. Мне следовало исчезнуть навсегда. Ни на что не похожий запах восточной пиццы распорядился иначе.

Вот как случилось, что одноглазый – другой, настоящий – встретился со мной. Он был как брат, он был всецело поглощен кулинарным шедевром – пиццей-глазуньей, в чьем единственном желтке без затей отражался трепет жизни человеческой в лице меня недостойного.

– Заходи, – сказал одноглазый, не взглянув на меня. – Как оно там, полыхает?

– Да, – кивнул я.

– Надо бы запретить играть свадьбы под водой, ты не находишь?

– Спасибо, – сухо ответил я.

– За что?

– Глаз очень красивый.

– Ну, знаешь!

Он был бледен.

– Ну знаешь, ты поспешил, право же, поспешил.

– Спасибо за него.

– Он мертв?

– Да, дважды мертв.

– Понятно. Это не я его убил.

– Это было бы уж совсем глупо.

– Не правда ли? Да я вообще никого не убивал.

– Рад это слышать. Боюсь, что не могу сказать того же о себе. Фигура речи, не более.

– Хочешь пиццу?

– Только за этим я и пришел.

– Я тебе не верю.

– Знаю.

Из угла четверо мужчин в галстуках слепили меня россыпью перстной.

– Я верну тебе книгу. Она аморальна, но поучительна.

– Дай мне ее.

– Сначала поешь.

Пиццерия опустела, как по команде церемониймейстера, к концу пожарной свадьбы. Другие пожары влекли толпу к холмам. Праздник был в разгаре.

– Стало быть, ты хочешь уехать, – сказал одноглазый.

– Да, капитан.

Он пришел в ярость.

– Никогда не называй меня так, понял?

– Понял.

Тем временем четыре галстука, оставшись одни, негромко переговаривались, и шелестящий их шепоток означал непрерывную прелюдию к серьезным делам. Началась вроде бы потасовка, без ножей и без огонька; они то ли танцевали друг с дружкой, то ли сводили счета.

– Набивают руку, – сказал одноглазый.

– В чем?

– Пф-ф, чем они только не занимаются.

– Всем одновременно?

– Это их слабость. Я хотел перемен. У меня нет больше сил. Нам нужны люди вроде тебя. Юные, с идеалами, не тронутые заразой. Они-то ни во что больше не верят. Идем. Я тебе кое-что покажу.

В мансарде были башмаки – видимо-невидимо. Вся эта прорва висела и пахла человеческой жизнью.

– Я обожаю башмаки, – сказал он мне. – Они очень много для меня значат. На самом деле я свое детство из-за них загубил: каждый башмак, вплоть до самого маленького, – это очередное разочарование, по сю пору меня преследующее.

Из отверстой пасти больших сапог вырывался ропот, хрустально-чистый и яростный звук. Казалось, комната заиндевели.

– Вот то самое, – сказал он.

Оказывается, это он испещрил самые похабные сцены в книге учеными пометками и непомерно раздутыми цифрами. По-моему, это был лишь предлог, дабы прикрыть наготу персонажей книги.

– Первое, что бросается в глаза, это частое употребление слова «член» и не менее частое – числа семь. Это очевидный намек на наше сообщество, в котором семь членов.

– Всего лишь семь.

– Это поначалу нас там было только семь. После пришлось делить издержки.

– Он знает все.

– Кто? Мальчишка? – Он усмехнулся. – Какая разница, он же мертв.

– Еще нет.

– Знаю, но он теперь урод и, при его-то самолюбии, носа на улицу не высунет с такой образиной.

Я открыл книгу наобум. Речь шла, как водится, об оргии: несколько мужчин и одна женщина. Мужчин было семеро.

– Женщина считается за ноль, – сказал одноглазый.

Сначала мужчины были с ней втроем, потом вдвоем, и наконец она осталась одна.

– 320.

Затем она была с одним, потом с двумя. Остальные трое смотрели.

– Трое наблюдателей – это число, на которое нужно разделить сумму.

И вот свершилось – цифры, лишённые всякой телесности, весело вспыхнули перед двумя глазами, его и моим, возбуждая в нас некую ненасытную тягу; они словно говорили: алмазы, сокровище, смерть. Они словно говорили: прощайте, пора. Счастливого пути.

– Ты понял?

– Да, капитан.

– Эти дурни думают, что в книге есть все. На самом же деле нужно совместить две книги. Если оставить их одних, они заведут нас Бог весть куда.

– Заведут нас?

– Ты отправишься с нами.

– Вы уверены?

– У тебя не будет выбора.

– Надо полагать.

– У них есть книга с пометками покойного Молины, у нас – книга Лили с пометками твоего отца.

– Какого отца?

– И то верно, все время забываю, что ты пришлый в этой истории.

– Это значит, что я для вас тот, кто должен сыграть роль...

– Ты будешь нашим кандидатом.

– Как это – кандидатом? На что?

– Ты будешь и там, и здесь.

– Скажите сначала, мальчик, который сгорел, должен был...

– Заменить тебя...

Он был мастер перетолковывать самые очевидные вещи.

– Ты переночуешь сегодня здесь.

– Отказаться я не могу.

– Это верно.

Казалось, он не имел больше корысти в этом деле. Он озирался, как потерянный ребенок. Я понял, что в пасти башмаков жили крысы – вредители памяти и грызли понемногу чистые воспоминания. Густая толпа, скинув беснующиеся фраки, уже взяла первые ноты бродячей мелодии. Одноглазый, в ослеплении от такой строгости тона, как прилежный ученик внимал мышинной музыке. Сколько же было музыкантов в этом оркестре воспоминаний? Наверно, столько же, сколько алмазов в небе над островом. Они пересчитывали их посредством средств, исходя из числа простого, но вдохновенного. Песня мышей широко шуровала в голове у одноглазого, то здесь, то там вырывался пронзительный стон, пронзая его стеклянный глаз.

Бред продолжался до рассвета.

Я проснулся от запаха собственной рвоты. Одноглазого не было. Кто-то запер меня в комнате, – наверно, по рассеянности. Я обнаружил лестницу, она

вела на крышу. Пришлось призвать все мои силы, чтобы открыть маленькую дверцу. Непроглядная тьма воняла, вонь леденила, лед царапал. Молочно-белые крылья сбивали прокисший воздух. Сухой и вежливый хлопок в ладоши приветствовал огонек моей спички.

Орлы были здесь.

Даже сегодня мне хочется верить, что это была демонстрация автоматов.

Я едва успел прикрыть свой единственный глаз, как они уже терзали мои руки. Сколько их было – пять, кажется, орлов. Мне почудилось, будто я вижу смех и галстук-удавку на повешенном теле. И снова хлопок прихлопнул меня. Я готов был выпрыгнуть в крошечное оконце, все лучше, чем это, но, на мое счастье, крыша выходила на заброшенную террасу. Я шел по трепещущему облаку голу-биных перьев.

– Иди сюда, – позвал он.

Он был там, на крыше, сидел, пригнувшись. Он всматривался в даль. На меня не счит нужным даже взглянуть.

– Иди сюда, – повторил он.

– Да, орел, – ответил я.

Он улыбнулся.

В полдень пиццерию заполняли портовые служащие. На этот раз возникла необходимость выделить специальный столик для трех агентов судебной полиции. Было найдено тело моего дяди; меня искали. Орел велел мне остаться в комнате с башмаками, откуда его будут допрашивать. Около половины третьего, когда уже закрывали, пришли доктор и атлет.

– Сюда, месье Моретти, – пригласил орел.

– Закрыто?

– Только не для вас, входите же.

– Хотелось бы сразу к делу, – сказал Моретти.

– Все готово, – заверил его орел. – Ждут вашего решения.

– Мое уже принято, – заявил доктор.

– Правда? И кто же это?

– Сюрприз.

– А что остальной экипаж?

– Есть, – сказал орел.

– Я верю вам, – кивнул доктор. – Господин Сильвер знает, что делает.

Орел покраснел.

– Пока нет, – возразил он.

Он держал доктора за горло.

– Я понял, – прохрипел доктор. – Довольно, сударь.

– Ладно, – кивнул Сильвер.

Он посмотрел на меня. Он знал, что отныне я тоже буду звать его Сильвером.

Он вдруг стал на диво обходителен.

– Хотите поесть?

– Пока нет. Подождем.

Сильвер сделал мне знак войти.

– Вот сюрприз, о котором я говорил вам по телефону.

– Какой же это сюрприз, мы уже осматривали его в больнице.

– Ну, и...?

– Староват.

– Как это – староват? Что вы хотите этим сказать? Он же еще ребенок.

– Если угодно.

– Но...

Теперь Сильвер побледнел, как полотно, и задрожал всем телом.

– Вас это удивляет? – спросил Моретти.

– Нет, но...

– Вот он, – сказал доктор. – Мы готовы, бразды правления переходят к нам.

Вошел мальчик. Он шагал медленно, и было очевидно, что его сияющие башмаки покорили сердце Сильвера.

– Наконец-то, – вздохнул он. – Такова жизнь.

– Что происходит?

Сильвер посмотрел на меня долгим взглядом и печально покачал головой.

– Твоя кандидатура не прошла, – сказал он.

Мальчик тоже посмотрел на меня.

– Добрый день, капитан, – поздоровался он и медленно, очень медленно подмигнул.

Глава V

Птицы заполнили корабль наших грез в один прекрасный день четвертого сентября, между одиннадцатью утра и семью вечера, в час того самого острова. Что капитан трусил, стало очевидно много раньше, когда он увидел, как Сильвер и наши друзья будто бы доставили арсенал, уже оговоренный в наших соглашениях. Должен сказать, что никогда еще механизм грядущей битвы не был таким отменно ржавым, – настолько, что вызывал у головорезов чувство тревоги, потерянности, ощущение чудовищной показухи, призванной в конечном итоге спровоцировать прессу.

Вот так внезапно все ощутили причастность к этой экспедиции, спровоенной на скорую руку, в облаке дыма, на размытом судне. Дым окутывал нас, и причиной тому были не только плохо работающие двигатели. Была еще и нежная любовь тумана к морской посудине, доведенной до ума Моретти, человеком, ни на что не сгодившимся.

Капитан был вне себя. Несмотря на это мальчик только что журналистов с собой не привел. Все об этом говорили. Но о чем? Я был уверен, что ничего, ну просто ничего не было задумано заранее в этой экспедиции, для которой так тщательно подбирались кадры. Известно, что птицы слетаются на птиц. Тьма чаек, легион воробьев преследовали нас еще несколько дней. Была даже грозная туча попугаев, к великой радости Сильвера, корабельного кока.

Через два дня после нашего отплытия мне было поручено присматривать за мальчиком. Я решил было, что мне не составит труда разговорить его на любую тему, которую выберет он сам, или поиграть с ним в какую-нибудь игру, или, к примеру, спеть. Напрасный труд: он уже тогда был нелюдим, играл только с собственным телом, а его руки являли собой целое представление. Когда с ним заговаривали, он делал вид, будто не слышит, или, хуже того, смотрел на кого-то несуществующего позади собеседника. Он обращался к нему самым серьезным образом, искажая лицо немислимыми гримасами в расчетливой своей простоте. Это был актер (сегодня всякий, кому известны правила игры, не удивился бы: прослушивания стали в наши дни расхожей монетой). Он выучил свои реплики и знал, что у меня и в мыслях не было той игры, что занимала его.

Я готов был на все махнуть рукой, когда он вдруг сам заговорил со мной.

– Друг мой, – сказал он, – чрезвычайно тяжко, поверьте, для того, кто был, как я, связующим звеном в данной операции, отвлекаться на все эти перипетии, которые не были предусмотрены хотя бы за минимальный срок? Не правда ли, капитан?

Было заметно, что его снедает желание выйти из игры и дать себе волю.

– Все же глупо и совершенно излишне шпионить за тем, кто в свою очередь шпионит за вами.

Очевидно, из нас двоих играл кто-то один не в ту игру.

– Видишь ли, малыш, – сказал я тоном отеческим и дурацким, – моя игра никак тебя не касается. Как тебе прекрасно известно, я в свое время наделал глупостей и теперь вынужден скрываться.

– А-а, та история, – кивнул он. – А знаете ли вы, что алмаз был хорош?

– Ну и что?

– А то, что история вышла чертовски серьезная! Алмаз стоит очень дорого. Так я купил свою должность.

– Какую?

– Вот эту.

– Я вам не верю.

– Все покупается, не правда ли?

– Тебе виднее.

– Мне виднее. Более того, я готов пожертвовать моим последним алмазом – вот он, – если ты сможешь мне разгадать одну загадку, причем, вне зависимости от игры, которая, кстати, интересует меня лишь из чисто профессиональных соображений.

– Какая же это загадка?

– Кто такой Мидас?

– Я не знаю.

– Я так и думал. Никто не знает. Однако я уверен, что ты один мог бы к нему подступиться.

– Почему?

– Потому что он упустил мое место.

– Он – ребенок?

– Он упустил его в свое время.

– Когда?

– Бедный мой малыш, я боюсь, что эти олухи упустят свой шанс. У них и не такие из рук уплывали. Вот вы – вы настоящий.

– Настоящий – кто?

– Настоящий Джим Хокинс. Но не будем об этом, сейчас я хочу, чтобы вы погрузились туда, в те глубины, где скрывается этот окаянный Мидас, который не дает мне спокойно спать.

– Он здесь?

– А где же еще? Это его обязанность – доносить обо всем, что связано со мной. В данный момент он слушает нас. Иначе как мог бы он передавать в своих донесениях наши диалоги в эту самую минуту?

– Вы на диво циничны!

– Вы обращаетесь ко мне на «вы» – это хорошо. Не люблю фамильярности между людьми, которые через несколько дней, от силы недель без зазрения совести убьют друг друга.

– Вы так думаете?

– И да и нет. Я ведь Джим Хокинс третьего поколения. Я прекрасно знаю, что меня ждет.

– Вот как? А зачем вообще здесь я?

– О, я понимаю, людям случайным трудно освоиться в этой игре. Но если вы поможете мне в моих поисках, я обещаю не называть вас Израэлем Хендсом. Соглашайтесь, я вас очень прошу.

Он снова стал ребенком.

– Помогите мне, я боюсь.

– Мне надо подумать.

Да, я видел Джима Хокинса плачущим. Да, я согласился выполнить самую нелепую миссию, какую только можно возложить на человека. Я согласился шпионить за самим собой.

Тогда я этого еще не знал и обшарил весь корабль сверху донизу. За оружием, за тропическими фруктами, за хищными птицами, за истлевшими попусту ширмами отыскалось нечто вроде оазиса. Плюшевая пальма, несколько пластмассовых верблюдов и еще – письменный стол, совсем маленький.

– Я ждал вас, – произнес чей-то голос.

– Я вас искал.

– Я все слышал, все видел.

– Как это?

– Я профессионал.

Он рассмеялся зловещим смехом.

– В отличие от вас.

– Я знаю.

– Вот как? Вы, может быть, честный человек?

– Еще нет.

– Тем лучше, – сказал он.

Пуля оцарапала мою левую ногу. Я решил, что будет благоразумнее разбить лампу. Под покровом темноты оживились птицы. В мгновение ока они заволокли оазис.

- Почему вы это сделали?
 - Потому что я люблю свое ремесло. Мой час не пробил. Я еще полон сил.
- Я не дам себя так просто прикончить.
- Я вовсе не хочу вас убивать.
 - Все так говорят.
 - Я не лгу.
- Я зажег фонарь.
- Где вы?
 - Угадайте.
- Я искал повсюду, но безрезультатно. Я замерз, проголодался. И съел одно яблоко.
- Надо полагать, вы так и не прочли книгу.
 - В общем, нет.
 - Это, знаете ли, необязательно, кое-кто даже утверждает, что лучше вовсе ее не знать. Но если это правда, возможно ли, чтобы вы не нашли меня сразу?
- Над этим стоило задуматься.
- Он вышел из бочки с яблоками. Очень довольный собой.
- Этим Джимом Хокинсом должен был быть я. Но нет на свете справедливости, по этой-то причине я и хочу вас убить. Трудно совершить несправедливость большую, чем эта, не правда ли?
 - Правда.
 - А вот и нет, вы ошибаетесь. Есть нечто еще более несправедливое. Убедитесь.
- И он пустил себе пулю в лоб.

Всплеск крыльев испуганных птиц увенчал выстрел. Естественно было бы бежать. Кричать. Вместо этого я взял яблоко прямо из руки мертвеца и, откусывая понемногу, залез головой вперед в бочку, где нашел во мраке сон и с ним последние слова Мидаса.

– Мне было порою дано торопить события в гонке за сокровищем. Предвидеть некий крутой поворот, пробел, время от времени повергавший в замешательство чересчур усердных игроков. Я никогда не ошибался, определяя, какую роль тот или иной кандидат мог бы сыграть в истории. Для этого мне достаточно было услышать, как он поздоровается. Даже люди случайные, те, которые были уверены, что не играют никакой роли и, стало быть, переживают подлинное приключение, становились, сами того не зная, жертвами моего злокозненного чутья. Я придумывал для них роль, и мне даже не было нужды втискивать ее между репликами постоянных исполнителей: достаточно было представить себе интригу, развивающуюся за тридевять земель от их игрового поля, чтобы поймать их в мою сеть и подтолкнуть к вульгарнейшей смерти.

Да, я злой. Все, кто занимал мое место прежде, были злыми. Неделю назад мне сочли нужным сообщить о решении, принятом, по всей вероятности, несколькими месяцами раньше. Нет, меня вовсе не хотели выбросить за борт (что, впрочем, было немисливо в такой организации, как наша). У них не хватило мужества меня убить. Чтобы освободиться от моего неудобного им присутствия, они избрали предусмотренный уставом путь: мне вырвали глаза. У меня не было

выбора: продолжать писать я не мог, пришлось смириться с жалкой ролью слепого. Между тем, я знаю, что уже трое слепых фигурируют в списке очередников и мои шансы принять участие в следующем цикле «острова сокровищ» отныне сильно снизились. Поэтому я предпочел уйти с достоинством. Всю жизнь я добросовестно служил товариществу приключений и ветеранов Африки и останусь верен ему до конца моих дней. Я не уйду со своего поста. Мой преемник, когда он заступит на место, найдет все в полном порядке.

Его голос стал еле слышным. Даже во сне. Разбудил меня Сильвер.

– Вот, тебе принесли ужин. До восьми утра ты должен выдать нам полуженные десять страниц.

– Кто вам сказал, что я умею писать?

– Птичка.

– Орел?

Он рассмеялся.

– Я думаю, придется мне рассказать тебе мою жизнь. Не все окончили свои дни так, как наш друг.

Я провел там три долгих года. Самых долгих в моей жизни.

Правду говорят: это хуже, чем тюрьма.

– Это и есть тюрьма.

– Вовсе нет, скорее наоборот. Тебе придется бывать повсюду. Нужно, просто необходимо, чтобы ты знал нас лучше, чем мы сами. Чтобы каждая реплика, которую ты нам дашь, удивляла нас, поражала. Надо страшиться грядущих дел. Надо страшиться тебя – больше, чем Судьбы. Ты – наше будущее.

– А могу я убить вас всех?

– Это было бы неосмотрительно с твоей стороны. Взгляни на беднягу Мидаса.

– Верно.

– Ты боишься?

– Да.

– Ты прав. Всегда надо бояться, тогда ты всегда сможешь придумывать для нас увлекательные приключения. Признаюсь тебе, на этот раз я что-то все-ррез заскучал.

– Чего вы, собственно, от меня хотите?

– Справедливости, веры, воображения. Нужно, чтобы этот остров был.

– А что, его может и не быть?

– Это зависит от тебя.

– Я уже ничего не понимаю. Так острова не существует!

– И да и нет. Приз достался счастливым всего лишь два раза за десять лет. И это стоило нам добрых полусотни мертвецов.

– Все-таки у вас есть карта.

– Книга – улови разницу. Возможности достичь цели весьма ограничены.

– Я понимаю.

– Но не забывай, что тот, кто решает за нас в наших делах, – всегда лицо случайное. Так что, даже если мы на верном пути, есть риск на каждом новом повороте пойти ко дну. В буквальном смысле.

– А кто решил мою судьбу?

- Мы. Наша была очередь.
- А в следующий раз?
- Боюсь, что следующего раза не будет. Но я чувствую, я просто уверен, что на этот раз он от нас не уйдет.
- Кто?
- Приз.
- Благодаря мне?
- Надеюсь.
- Эта история начинает мне нравиться.
- Давно бы так, – кивнул Сильвер. – Пospеши, твой ужин остынет.
- А вы не расскажете мне вашу жизнь?
- В следующий раз. Это долгий рассказ, к тому же жизнью у меня много. В тот же вечер я решил устроить славный бунт.

Глава VI

Итак, я сделал выбор: рассказывать историю в прошедшем времени всегда затруднительно, если знаешь, что она еще не произошла. «На крайний случай, – говорил я себе, – лучше подойдет настоящее, да и играть легче». И я начал: «На корабле люди Сильвера собираются в каюте неподалеку от камбуза. Все смотрят на море. Видят, как птицы кружат над кораблем – это значит, что мы уже недалеко от игрового поля. А вот и мальчик, он идет в нашу сторону, пересекает палубу, не видя нас, – но он знает, что я здесь. Вот его уже не видно. И почти тотчас же он появляется в кают-компани. Он голоден. Наконец он находит бочку с яблоками. Наблюдатель подает знак людям Сильвера. Кто-то произносит громко и нарочито театрально: «Нет, не надо, мы не можем его убить!» А кто-то другой возражает: «Можем, так надо». И т.д., и т.п.

Но вот мальчик уже действует. За каких-то полминуты он находит, находит сам (очко в их пользу). Теперь они все здесь. Они спорят. Волнуются. Стало быть, бунт состоится. Они голосуют. Готово, дело сделано. Предложение Сильвера принято большинством голосов. Подавляющим большинством. Они расходятся по одному. Мальчик медлит, не действует (очко в нашу пользу). Он уснул.

Все это я предвижу.

Однако я знаю: предвидеть детали рискованно. Я бы даже сказал, это профессиональная ошибка: один шанс на десять, что он будет действовать таким образом. Но слишком поздно, это уже написано моей рукой, и свидетель, читающий эти строки по мере того, как я их пишу, так или иначе засчитает очко не в мою пользу (я слышу его смех: он догадался, что я сейчас напишу. Он опять смеется, закуривает, ходит взад-вперед).

Остальные ждут сигнала, чтобы приступить. Вот они идут. Смятенные, встревоженные, они чувствуют: что-то затевается. Иные думают, что чем раньше люди Сильвера начнут действовать, тем больше будет у них шансов на победу. Но мнения разделились. Не правда ли истинная, что уже дважды поднятый без должной подготовки мятеж имел гибельные последствия для пиратов и завоевания морей вообще? На этот раз погода благоприятствует. «Хорошие» действуют

по-взрослому: без паники, без шума. Воцаряется страх, но так надо: ведь бунт – один из трех моментов игры, когда игроки рискуют жизнью. Один только мальчик не видит риска, и все понимают, что это один из факторов, способных дать преимущество пиратам. Мальчику смешон страх доктора, он кажется ему притворным. И это вызывает – не может не вызвать – вспышку гнева у капитана и слезы у доктора.

Вот что я предвижу в этот осенний вечер.

Назавтра я был зрителем и критиком действия. Мои прогнозы сбылись: все, что я предвидел, разыгрывалось перед моими глазами поразительно точно и умирительно беспечно. После истерики доктора на палубе появился мальчик и направился прямо ко мне.

«Верно подмечено», – сказал он и что-то вложил мне в руку. Он все же сообразил завернуть алмаз в черную тряпицу, на которой было написано мелом: увольте. Бедняга зашел чересчур далеко. Он слишком много знал. Общеизвестно, что нет ничего опаснее, чем менять местами стадии игры (должен сказать, вчера я предвидел, что напишу эти строки сегодня).

По прошествии двух дней я стал принимать себя чересчур всерьез. Это я тоже предвидел. Но как мог я написать вещи, которые так трудно было предугадать: происшествие в машинном отделении, падение Израэля Хендса и принятое командой «хороших» решение покинуть корабль...

Итак, все это было предсказано три ночи назад, а то, что я хочу предсказать теперь, будет столь же неожиданно, сколь и неизбежно.

Теперь я пишу каждый день, я предрекаю события в совокупности, места, полные находок, душевные терзания и параллельные перипетии, а проверить все это некому. Но не суть важно. Я попал в западню и только теперь начинаю понимать кое-что из загадочных слов покойного Мидаса.

Пираты отпраздновали это подобие победы большим пиром с обильными возлияниями. В нужный момент я встал и удалился со сцены. Должен сказать, я предугадал, что произойдет десятью минутами позже.

Потери оказались велики: двое погибших, которых бросили в топку. Надежды найти беглецов больше нет.

Мой дар ясновидения не остался тайной кое для кого из членов экипажа, и они поглядывали на меня с любопытством и какой-то бабьей жалостью. Свидетель менялся четырежды. В принципе роль его проста: проверять истинность написанного и составлять еженедельный отчет по логии. Написанное мною за день называют текущим листом. Каждое утро его размножают и раздают игрокам. В конце дня на коротком собрании подводят итоги и следуют далее.

Игроки коренным образом переменились ко мне, когда я стал описывать их сокровенные помыслы. Тотчас поднялся ропот (я это предвидел), но в конечном счете любопытство все же одержало верх.

В данный момент я работаю следующим образом: пишу сначала цепь событий, не вдаваясь ни в замыслы игроков, ни в подробности их действий, – это называется *эксн*. Затем я описываю потаенные замыслы каждого, изменяю,

могущие произойти в последнюю минуту, варианты действий, вытекающие из возможных ошибок в игре. Совокупность ошибок и составляет в итоге действие. Ошибки эти определяют глубинный ход событий. Эти события представляются мне некой субстанцией, текучей, но чрезвычайно тяжелой. Из этой субстанции возникают вдруг неожиданные очертания, лишённые причин, – события истории. То есть, история есть все, что препятствует игре.

Зачем же играть в игру, если она так утомительна и так опасна?

Я знаю, грядет тот далекий день, когда все события моей жизни обступят меня иступленной толпой. Я произнесу речь, в которой назову каждое событие по имени и фамилии. Затем все они строем промаршируют передо мной как на военном параде. Этот парад и будет моей жизнью. С одним недостатком – она будет бесконечна. Придется, стало быть, придумывать игру. С единственным правилом: каждому событию должно достаться слово из моей речи. Тогда, расположившись в парке, обширном и безмятежном, они произнесут, по порядку появления в речи, каждое предназначенное ему слово. И к концу речи мне покажется, что жизнь у меня была насыщенная и короткая.

Я позволяю себе это отступление, потому что писать пророчества мне запретили. В роли рассказчика я пробыл всего лишь несколько дней. Достаточно, чтобы сойти с ума от грядущих дел. Как бы то ни было, в силу этого я оказался изолирован от всего экипажа. Никто не заговаривает со мной, никто не хочет знать своего недалекого будущего.

К чему теперь говорить о последнем моем видении? Это было вчера ночью, я спал. Сон, снившийся мне ночь за ночью, все отчетливее, вдруг стал ослепительным: передо мной лежала пустыня. С белого, как бумага, неба падали слова. Вот они: тот остров не в море. Он расположен далеко от игрового поля. В этот миг я ясно видел заброшенную крепость и слышал голос той, кого я люблю больше всего на свете. Она звала меня.

Назавтра я решил покинуть корабль. План побега я разработал самым тщательным образом и, предвидя его успех, действовал спокойно и без суеты. Да, для меня приключение под названием «остров сокровищ» было окончено и начиналась настоящая игра. Однако в назначенный день план мой провалился самым нелепым образом. Я намеревался бежать во время одной из стоянок на пустынных островах, окружающих архипелаг сокровищ. Надо сказать, что с некоторых пор у меня появилась в моих прогнозах дурная привычка не смотреть направо. А между тем справа, недалеко от корабля, стояла на якоре яхта, и люди Сильвера решили взять ее на бордаж.

Экипаж яхты не оказал никакого сопротивления. Сильвер поднялся на борт с неким Нарваэнсом – который до сих пор не играл никакой роли в описываемых мною событиях. Он ненавидел меня, я это знал, и, хотя мой преемник счел нужным дать ему несколько незначущих выходов и даже две ключевые реплики, видел во мне виновника своего, так сказать, положения на полку. Бедняга, слово «полка» его и убило. Когда-нибудь придется заглянуть в бездонный колодец архивов острова сокровищ. Там, в крутейшем этом маринаде, мы, возможно, найдем объяснения несчастий, свидетельствующих о силе изреченного, прикоснемся к подвижным сводам, раскрывающим все ужасы, связанные с

одним-единственным словом. Слово «визит» заполнило целые кладбища – вернее, то, что называют кладбищами они: бескрайние и безмятежные песчаные отдели, на которых живут лишь хищные крабы. Как уже было сказано, не я придумывал перипетии в тот день. Поэтому нельзя возлагать за меня ответственность за злосчастное происшествие, послужившее причиной смерти Нарваэнса. С другой стороны, я хочу поблагодарить писаря, который изложил все предшествующее в акте, составленном для лиссабонской конторы, которого я включил в свои личные воспоминания как опровержение распространившимся повсюду слухам. Зарубите себе на носу, все полторы недели, что мне пришлось оставаться на месте, я воздерживался от какого-либо намека, прямого или косвенного, на взрывоопасное слово.

Мы привезли Нарваэнса во время сиесты, чтобы избавить хотя бы спящих от жуткого зрелища разрозненных частей, достойной экспозиции останков с отпечатком злых шуток: в глазницы его были вставлены долларовые монеты; обезображенная голова торчала из неузнаваемого зада, огромный живот соседствовал с зеленоватой рукой, с которой предварительно срезали умную татуировку, чтобы наклеить ее на язык, свисавший между тестикулой и ухом и аккуратно приколотый к пятке; его плечо было перемазано экскрементами, они же обрамляли левую ляжку, украшенную многочисленными сосцами (их было больше двух, точно). Все это было совсем не смешно, и мой план бегства рухнул. Что же все-таки случилось? Ничего страшного, если верить Сильверу. Просто недопонимание: у бедолаги якобы некстати слетело с языка слово «полка». Вообще не стоило его произносить, а особенно в тот момент.

Я потерял нить событий в тот самый час, когда меня отстранили от обязанностей писаря. Насколько я понял, в этой игре мы выигрывали в три этапа. Один мертвец против трех этапов – вот так, выбор был сделан. В конечном счете, бедняга Нарваэнс все же сказал свое слово.

В тот же вечер весь экипаж пришел ужинать. Капитан, мексиканец-обрубок, в котором любовь к высоким ампутациям пересилила ненависть к низким подсадкам, описательно хохотал. Остойчивая осанка, которой он без усталости любовался в зеркалах, убедила его в собственных задатках заправилы, и все три часа, что длился ужин, он всеми правдами и неправдами пытался вывести разговор на свою излюбленную тему: Бенито Серено¹. Будучи ветераном острова сокровищ (он побывал на четырех разных и, хотя его яхту вывели из игры, остался на правах вольного зрителя), он ратовал за преимущества запретной игры.

– Мне странно слышать от вас такое! – воскликнул Сильвер. – Бенито Серено – не игра. Я называю такие вещи бессмысленной бойней.

– Стало быть это не настоящая бойня.

– В крайнем случае, бойня виртуальная.

– Не говорите мне, что вам нравится клуб самоубийц!

– На худой конец предпочитаю «потерянное время».

– Почему бы нет! Педераст педерастом и останется.

1 «Бенито Серено» – роман Германа Мелвилла.

Почему бы не Улисс, почему бы не Асперн.

Я плыл в незыблемых водах моего единственного глаза. Под свинцовым куполом внемлющего, хоть и равнодушного неба наши люди мчались на всех парусах к моим сбывающимся прогнозам. Я видел, как их сбивает в кучу заурядное зверство, которого они отнюдь не заслуживали.

Я ничего больше не видел – я вспоминал. Остановившиеся в подвешенном состоянии пули были точками отсчета в этом пространстве, пересеченном двумя реками, которые не могли слиться. Я представил картину так: пули, пересмотренные моим глазом-иллюминатором, – точки, а эти солнечные плевки – пространства души. Душа равна телу – вот как, между двумя залпами, я записал свою теорему. Названия романов играли роль охранных грамот, каждый штатный исполнитель роли нырял в это море брани за рыбой-жестом. Затем, по инструкции смерти, был предписан долгий путь наверх: через четыре стихии – или католические добродетели, – через пять потенциальных предикатов, через титульный лист, туда, к горным высям, в то сказочное место, где все грядущие преступления обретут покой.

Результатом стычки стали три никчемных смерти. После двух часов переговоров Сильвер и Мендоса заключили мир. Вдвоем они отправились прогуляться по острову. Кто-то разбудил меня перед рассветом. Было решено отплыть на яхте. Вот так. В полдень Сильвер созвал общий сбор. Он сообщил о своем намерении включить в нашу игру главу романа, которую, по его словам, обожал: Бенито Серено. Мы будем играть в ней восставших рабов, а Мендоса выступит в роли капитана.

За три недели мы обошли все острова в поисках противника. Два абордажа сорвались в последнюю минуту. Боевой дух упал, но мы держались. Все играли в карты.

Однажды, после полудня, мы проснулись все разом посреди сиесты. Иные взгляды не могут обмануть, и восставшая плоть каждого из нас была тому доказательством. Все сходились в одной точке, нельзя было не признать эту очевидную истину. Стоило закрыть глаза – и образ одной-единственной женщины повел танец, породив самое жгучее подозрение, какое только сохранила моя память. Она была богиней для нас всех. Она чеканила этот недвижный танец, увлекший нас к образу более, чем обнаженному.

Нас обманули. Сильвер не открыл нам всей правды: эта женщина не принадлежала ни острову сокровищ, ни Бенито Серено. Она была «Она».

– Да, это – «Она!» – воскликнул Израэль Хендс.

Сильвер сразу смекнул, что ему нет никакой корысти скрывать правду любой ценой. В тот же вечер мы воочию увидели воплощение танца. Это была она, сестра той, кого я люблю больше всего на свете.

Она произнесла приветственную речь. Сказала, что почитает за честь играть с нами. Она прикинулась обнаженной танцовщицей и сразу после этого скрылась, а затем появилась вновь, в присущем ей лунном облике.

Мы плыли несколько недель. Однажды в бурю сбылось мое пророчество: спасательная шлюпка с беглецами явилась нашим взорам; то был фокус, на какие

горазды волны тропических широт. Они буквально упали на палубу яхты: мальчик, доктор, сквайр и капитан.

Надо было все начинать сызнова. Стало очевидно, что игра будет вновь узаконена. Сильвер распорядился немедленно отправить депешу в Лиссабон, и уже на завтра действия возобновились.

Своим спасением я обязан фантазии писаря с тропических широт. Вести игру выпало Мендосе, и первой его идеей было устроить изнасилование единственной женщины на борту. Сильвер воспротивился, но по правилам игры он должен был спросить мнение всего экипажа. Он не был поддержан своими людьми, изнуренными множеством романов без женщин.

Изнасилование началось около трех пополудни. Когда настала моя очередь, почти весь экипаж уже спал вповалку на палубе. Все лежали в причудливых позах и вместе создавали впечатление утонченной ненасытности. Они были желтым ветром, уже чреватой далекой бурей. Их тела словно смирились, поартачившись, с живучим и необлаченным обличем птичьего помета. Все они были мертвы, но я еще не знал этого: искусство ясновидения порождает скепсис. «Она» ждала меня в своей каюте. Она не была обнажена.

– Флаг вам в руки, – сказала она беззлбно.

В каюте лежали Израэль Хендс, Ролдан и Микс.

– Зрители вас смущают?

– Я вовсе не намерен вас насиловать, – ответил я. – Я католик.

– Это что-то новенькое!

Мне послышался смешок, от которого кровь застыла в жилах.

– Вам это, я полагаю, доставляет удовольствие, – сказал я.

– Еще какое.

И она расхохоталась как безумная.

– Сколько же католиков на этом судне?

– Я один.

– Полноте, друг мой, полноте.

– Да что вы?

– Да. Все как один джентльмены.

– Это же прекрасно.

– Молодой человек, я женщина особенная.

– Вы жалеете, что вас не изнасиловали?

– Я не выношу непоследовательности! Обещают одно, делают другое. Теперь уже слишком поздно.

– Для них.

– Да, для них. Выпей. – Она показала мне стакан.

– Нет, я, пожалуй, предпочту остаться живым.

– Ну, ты даешь!

Кто-то хихикнул в шкафу на полке.

– Полка!

Я понял. Она сказала слово. Она убила их всех.

– Занятно, – сказал я. – В воздухе пахнет сексом. Что вы все-таки сделали?

- Я изнасиловала их, – ответила она, зардевшись.
- Вы?
- Нет, не я. Он сделал это для меня.
- Да ну?
- Он... ну, то есть, эта «штука»...

Она распахнула дверцу шкафа. Куча тяжело дышащей требухи, разящая одеколоном и помадой, возвышалась передо мной.

- Опять враг, – сказал я. – Не бойся. Я тебя простил.

Женщина завизжала. Клянусь, я ничего особенного не сделал. Только воткнул глаза изверга в каракатицу, служившую ему носом, и отрезал его раздвоенный член своим швейцарским ножом.

Уходя, я услышал голос женщины:

- А я думала, вы друзья.
- Да, – ответил я. – В прошлом.

Эпилог I

Этот печальный конец не остановил экспедицию. Я хотел увидеть своими глазами то, что я так неумело предсказал. Избавлю вас от перипетий дальнейшего плавания. Оно заняло десять лет моей жизни и будет предметом следующего тома мемуаров, которые я пишу в настоящий момент.

Да, я нашел остров. Он не в архипелаге островов сокровищ, а посреди пустыни. Нет, это не оазис, это руины крепости XVIII века. Я не нашел сокровища, я никогда и не думал его искать. Я провел там десять лучших лет моей жизни с женщиной, которую люблю больше всего на свете.

Там я научился играть на пианино.

Конечно, в ту пору я был моложе и резвее. Это было в прошлом.

Эпилог II

Я даю разрешение на публикацию этой книги, которую написал мой отец за несколько месяцев до того, как принял добровольную смерть в огне. Надеюсь, что она послужит неопровержимым доказательством для тех, кто все еще отрицает его глубокое психическое расстройство. Мой отец был так болен, что любил свои раны, как любят огонь. Знайте, что, когда он в последний раз навестил меня в моей камере и я попенял ему, что он не читает мне свои мемуары, он сухо ответил: это мемуары не мои, а моего отчима. Он считал себя инкарнацией своего отчима, знаменитого антрополога, от которого мне досталась бережно мною хранимая коллекция цветных глаз.

Я выражаю ему благодарность за то, что он предал огню свои ожоги, и за то, что доставил мне удовольствие, сделав это напротив тюрьмы, в которой я живу.

Огонь – моя страсть, и он это знал.

Перевод Нины Хотинской

Интервью* журналу «Positif»

«Positif». [...] По поводу «Города пиратов» вы говорили о сюрреалистическом влиянии. Действительно, на ум приходят такие поэтические произведения, как «Бульвар Сен-Жермен, 125» Бенжамена Пере и «Свобода или Любовь» Робера Десноса с их свободным сочетанием образов и идей. Как возник замысел этого фильма?

Рауль Руис. Тут и в самом деле есть заранее выбранные нарративные куски. Я хотел достичь соответствия – как все изгнанники, я очень занят поиском соответствий – с романами Лезамы Лимы, писателя, который меня просто восхищает. Эта система, сочетающая чувство экстравагантности и дурной вкус, позволяет нам примириться с нашей латиноамериканской сущностью. На нашем континенте есть все – от старых колымаг до утопии. Лезама Лима освоил все это посредством стилизации. Он жертвует целые страницы низкопробному подражательному модернизму, тому течению, которое черпало вдохновение во французской поэзии конца века. Снимая «Город пиратов», я отчасти следовал его примеру. Но здесь еще и страстная любовь. У меня есть определенная склонность к копролалии¹, любовь к матерщине. Чтобы дать вам представление о том, что я пытаюсь делать, напомним, как начинается один из рассказов Лезамы Лимы. Это описание чисто тропической послеполуденной жизни: женщина ждет мужа, дети играют. И вдруг автор ввязывается в описание игры теней на двери и ручке этой двери, которую хозяйка дома весь день усиленно полирует. Появляется четкое отражение подручных диктатора, убивающих ее мужа. Совершенно неожиданный переход: набившая оскомину банальность – диктатор – вводится через мимолетное отражение.

«Positif». Вы часто говорили, что вам не слишком нравятся доминирующие в Латинской Америке культурные течения, например, приверженность нео-реализму или диктатура документального кино, которую на какое-то время усвоила Аргентина. Какое наследие признаете вы? Что явилось стимулом для вашего творчества? Группа чилийских сюрреалистов во главе с Браулайо Аренасом и Энрике Гомесом-Корреа?

P.P. Нет. Я был с ними знаком, но они на меня не влияли. Это сейчас я с интересом читаю сюрреалистические тексты. Привлекает меня сюрреализм повседневной жизни, такая логика поведения, которая от нас постоянно ускользает. Поэтому я сознательно избегаю всяких объяснений, ограничиваясь показом определенной манеры поведения. В конце концов, это стало сюрреалистическим техническим приемом. Например, двое людей что-то обсуждают в кабке:

* *Extraits. Par Michel Ciment, Hubert Niogret, Paulo Antonio Paranagua, Positif, N° 274, décembre 1983* [Отрывки. Записали Мишель Симан, Юбер Ньогре, Антонио Паранагуа, «Positif», N° 274, декабрь 1983]

1 Непрерывное произнесение неприличных слов (прим. перев.).

один из них время от времени хватает бутылку и разбивает ее о голову собеседника; разговор начинается вновь, потом разбивается очередная бутылка. Я хотел показать, что сам диалог не имеет ничего общего с тем фактом, что они быют друг друга бутылкой по голове. В чилийской культуре мне дороже всего страстная любовь к бессмыслице. Весь наш юмор основан на резкой смене уровней языка. Напротив, мы в Чили совсем не увлекаемся игрой слов, тогда как аргентинцы, подобно французам, от нее без ума. Еще один близкий мне чилийский аспект культуры – это почти вольтеровское отношение к фантастическому. Фантастическое существует, происходят удивительные вещи, но мы в них, если можно так выразиться, не верим или, по крайней мере, сохраняем определенную дистанцию – верим, не позволяя себе удивляться.

«Positif». *«Три кроны матроса» – это фильм, который развивается по спирали, используя глубину площади барочным образом и приводя в движение пространство. Но «Город пиратов», наоборот, состоит из тщательно скомпонованных планов, где пространство предстает почти таким же, как на полотнах Дали.*

P.P. У меня часто бывает так, что исхожу я из одного, а достигаю совершенно иного. Вот недавно я снял Бобура фильм о Дали, «Страницы каталога» и, сам того не ведая, узнал много нового для себя. Мне сразу сказали, что в этом фильме нужно следовать за страницами каталога, я же сделал фильм о каталоге. Для тех пейзажей, что я нашел в Португалии, требовались определенные типы кадрирования. Затем лица и одежда людей, которые, в конце концов, прекрасно совпали с некоторыми картинами Дали – не только по причине сюрреалистического расположения или фантастического аспекта, а просто потому, что мы находились на морском берегу, дома были белыми, а наши герои имели сходство с персонажами его картин. И потом, если снимаешь море при помощи поляризованных фильтров, чтобы приблизиться к Техниколору, вступаешь в сферу Дали. Я прихожу в экстаз, когда могу взять банальные общие места и переработать их. К примеру, в связи с одним фильмом мне сказали: «Как вы смеете использовать зеркала после Кокто?» Я думаю, что можно таким же образом использовать сюрреалистические приемы, которые вышли из моды, но остаются очень полезными, как старые камеры. Между прочим, я люблю снимать старыми камерами: они могут сделать то, на что современные камеры уже не способны. Так же и Дали – даже после Хичкока его еще можно использовать.

«Positif». *Чаще всего вы делаете кадрирование в сверхклассической манере, отвергая необычные углы. Однако иногда разрушаете эффект реальности, показывая, например, на первом плане огромную ногу.*

P.P. На сей счет у меня нет каких-то четких представлений, но это следует рассматривать совокупно со сценическим расположением. Когда я смотрю видеоклипы и особенно театральные постановки, я понимаю, как любой зритель, что они разыгрываются в рамках заранее определенного расположения. Например, в «Гамлете» Кармело Бене все разыгрывается вокруг большой кровати. Декорация вступает в игру, она сама по себе сценарий. Точно так же в видеоклипе

каждый кадр может оказаться новым расположением, которому подчинена песня, иногда вполне банальная. Я говорил себе, что точно так же, как Эйзенштейн делал кадры-картины, играя с пластическим аспектом объектов, можно было бы добиться даже большего, играя с кадрированием и точкой обзора, с расположением как таковым. Каждый кадр стал бы отдельным расположением, и не пришлось бы решать проблему монтажных переходов. Чтобы действовать таким образом, имеются две возможности: либо совершенно плоское расположение, так что видны все вещи, сконцентрированные в центре, либо отказ от кадрирования в пользу совокупного кадра, который становится несколько экстравагантным, необычным. Играешь то с одним, то с другим, переходишь от одного к другому. Это экстравагантно – особенно после нарративного кадра. Я делаю это отчасти для того, чтобы избежать кадрирования. Кадрование означает неизбежное присутствие оператора, а это болезнь специфически европейская и, прежде всего, французская. Только во Франции я видел операторов, которые при съемке интервью заняты тем, что пытаются уравновесить объекты в кадре, как если бы на него смотрели, как на картину. Помню, что у нас люди, влюбленные в кино, начинали с обсуждения концепции кино у Ортеги-и-Гассета. Когда он впервые посмотрел фильм, то сказал, что это совсем не похоже на картину. В картине образ зависит от кадра. В кино образ выходит за пределы кадра, обладает центробежной силой.

Когда я работал на французском телевидении, меня страшно удивляли две вещи. Операторы, подобно всем операторам мира, злоупотребляют крупными планами. Они начинают двигать камеру во всех направлениях. И говорят, что следует немного ускорить темп. С другой стороны, они очень хорошо выстраивают первый кадр. Не понимаю, зачем, ведь в любом случае его приходится вырезать при монтаже. 80% усилий во французском кино тратится впустую на споры о том, как уравновесить объекты в кадре: персонаж чуть правее, чуть левее, бутылка пива чуть поближе или чуть подальше. Если это так невероятно важно, стоило бы снимать двумя камерами одновременно. Но это все устаревшие концепции.

«Positif». *«Расположения» заставляют нас вспомнить о музыкальных структурах с вариантами...*

P.P. Расположение предполагает, что образ в некотором смысле начинается с нуля в каждом плане. Сколько фильмов, столько и образов, если уж договаривать до конца. С другой стороны, в «Городе пиратов» я впервые попытался – хотя думал об этом и прежде – использовать музыку не в качестве лейтмотива, не для того, чтобы создать определенную атмосферу или охарактеризовать персонаж или ситуацию посредством музыкальной темы, вводя ее раньше или позже, как это часто делают, а сделать музыку эмоционально самодостаточной, независимой от образов, используя ее для соединения двух эпизодов, которые в принципе не имеют ничего общего. В «Городе пиратов» я взял для сцены с маленьким ребенком довольно зловещий вальс, который затем использован в другой сцене, не имеющей с первой ничего общего, но они оказались связаны благодаря музыке. Это вынуждает работать со многими музыкальными темами и вставлять их заранее, чтобы выявилось различие между ними. Это может принести большую пользу, музыка же становится нарративной величиной. Но необходимо, чтобы

образы разных сцен не имели между собой ничего общего и чтобы связь устанавливалась посредством музыки. В этот момент и достигается множественность эпизодов. Фильм в каком-то смысле становится полифоничным. Есть несколько связей, несколько эпизодов, которые надо выстроить, исходя из заданных величин. Визуальные соответствия – это другой аспект. Здесь следует добиваться соответствия: два кадра, имеющие одинаковую длительность и о чем-то напоминающие. Однако чтобы понять это, приходится, к несчастью, смотреть фильм несколько раз. Приходится рассчитывать на видеомангитфон.

«Positif». *Много ли вы видели в Чили американских фильмов класса Б?*

P.P. Я понял, что в этой сфере являюсь просто эрудитом. Я видел почти половину фильмов, снятых Реджинальдом Ле Боргом и Фордом Бибом. В Чили мы смотрели все серии «Капитана Марвелы» и «Флэша Гордона».

«Positif». *Это и было вашим культурным багажом, когда вы стали делать кино?*

P.P. Нет, только в детстве. Когда мы начали делать кино, самой сильной эмоциональной мотивацией было вот что: «Мы будем снимать какие-то места, и, увидев их, чилийская улица ощутит эффект узнавания». Парижа мы не знали, следовательно, связи не возникало. Привычный говор усиливал национальную монолитность нашей культуры. Как-то раз я попытался объяснить это одному молодому чилийцу, который хочет снимать фильмы в Чили. Но сейчас это уже нельзя делать так, как прежде. Есть телевидение, которого мы не знали. Мне было двадцать лет, когда в Чили появился первый телевизор. Программы новостей, репортажи сделали банальным это поэтическое переживание – отправиться на край света и даже самой материи, пытаюсь отыскать некие тайные знаки. Сейчас аудиовизуальный массив, повседневное присутствие телевидения с его прямым звучанием окончательно создали своего рода барьер, который нужно преодолевать, быть может, посредством эстетического шока. Быть может, в этом одна из причин того нового маньеризма, который присутствует везде. Кажется, я так и не ответил на вопрос, но я забыл исходный пункт!

«Positif». *Взаимосвязи с к американскими фильмами класса Б.*

P.P. В неделю мы смотрели по пять-шесть фильмов. Были программы из четырех фильмов, по жанрам: сначала сериал (эпизод из «Капитана Марвелы» или «Флэша Гордона»), затем музыкальный фильм, потом драматическая комедия, исторический фильм и, наконец, детектив. Мы проводили у телевизора все послеполуденное время, и так было везде, поскольку фильмы продолжались около часа. Хотелось бы вернуть эту наивность. А еще нас привлекало полное отсутствие правдоподобия, глупость этих фильмов. Люди радостно переживали все перипетии сюжета, беспрерывно болтали, смеялись, когда какой-нибудь персонаж в шляпе падал в пропасть и оказывался внизу все в той же шляпе, которая не сдвинулась даже на миллиметр. Когда нам было десять лет, мы предпочитали «Флэша Гордона», главным образом, за его ляпы – некоторые из них были

воистину поэтическими. Мы вступали в более непосредственный диалог с образом, но впечатления это не производило. Когда я смотрел «Плещаницу» или «Камо грядеши», все было иначе.

«Positif». *Вы как-то сказали, что эти глупости порождают некий обмен между зрителем и изображением.*

P.P. Это своего рода договор, обоюдное презрение. Производитель говорит: будем кормить публику глупостями, потому что она глупа. Публика говорит: все люди, которые делают такие фильмы, идиоты.

«Positif». [...] *Еще одна связь с классом Б, приключение...*

P.P. Мне бы очень хотелось снимать настоящие приключенческие фильмы, настоящие мелодрамы, но одному это сделать невозможно. Это невозможно сделать в рамках авторского кино, потому что оно неизбежно насыщается значениями. Такие фильмы нужно делать быстро, их надо делать много, переходить от одного к другому – именно это дает отдачу, легкость, стиль. Если бы мне дали снять серий тридцать неважно чего, у меня обязательно получилось бы, причем без потери многозначности, но с приобретением новых возможностей – визуальных, нарративных, кинематографических. Я убежден, что как раз сейчас рождаются некие новые силы в этих галактических сериалах от трехсот до шестисот эпизодов каждый, придуманных бразильцами из Глобо. Потому что сериал из шестисот эпизодов уже не может иметь истории, поскольку их нужно много – больше, чем в «Далласе» – и почти с одними и теми же персонажами. Это настоящие галактики. Единственное, что необходимо – найти таких персонажей, которых словно бы знаешь. В такую мелодраму можно включать все. Именно массив дает возможность поработать с материалом – очень свободно и не теряя отдачи. Но это не для меня.

«Positif». [...] *Какой литературный источник вдохновил вас на создание «Города пиратов»?*

P.P. Как я уже сказал, отправной точкой был Лезама Лима. Не какое-то отдельное произведение или глава, а нарративные приемы. А хотелось мне сделать «Алкион» Пьера Эрбара. Я уже второй раз пытаюсь сделать «Алкион». Первый раз это было в Голландии. Тогда я не смог. Мне пришлось снимать «На спине кита». Во второй раз, когда все было готово, мы обнаружили, что «Алкион» продан другой студии, которая сделала телевизионный фильм. За две недели до съемок мне пришлось полностью поменять сценарий.

«Positif». *Что заинтересовало вас в «Алкионе»? И что осталось от этого в «Городе пиратов»?*

P.P. Здесь два аспекта. Во-первых, аспект серии Б. Это ведь история для нищего продюсера – три персонажа на необитаемом острове. Формула классическая. Аспект, который меня интересовал, это возможность говорить о резне конкретно и в то же время косвенно, поэтическим образом. Это была знаменитая

сцена: двое детей убегают из дома в поисках приключений, попадают на необитаемый остров, словно новые Робинзоны, но речь идет об острове Поркероль. Там они находят следы пребывания людей, потом кладбище. Они начинают рассматривать надписи на могилах: родился в таком-то году, умер в двенадцать лет, родился в таком-то году, умер в десять, восемь, одиннадцать лет. Это кладбище детей. Потом они узнают, что на этом острове была детская колония, что произошел бунт и что многих детей, скорее всего, убили. Они встречают охранника, которому кажется, что один из двоих детей является реинкарнацией вожака мятежников. Словом, это фильм, где косвенным образом говорится о том, что затрагивает такого человека, как я. С другой стороны, имеется достаточно фантастических элементов, чтобы работать с такой формой кино, которая меня очень интересует. Этот фильм можно рассматривать как некий сюрреалистический коллаж из нескольких лубочных картинок. Сначала видишь ребенка, который убил всех членов своей семьи, потом видишь историю любви ребенка и гувернантки, еще одна лубочная картинка. Они вместе отправляются на необитаемый остров. Вся игра построена на исчезновении ребенка и появления безумца в некоем замке.

Это две истории о подростках в духе классической подростковой литературы, и, в конечном счете, этот мятежник становится своего рода Питером Пэном, но в то же время он – диктатор, уступивший соблазну фашизма. Если выявить все элементы, составляющие фильм, это элементы с очень простой символикой, чья сила в том, что устанавливается связь между нарративными лубочными картинками и визуальными образами, которые являются антиподами предыдущих образов – скорее сюрреалистических. И есть еще один аспект. Это больше, чем отсылка к Мурнау. Я хотел сделать то, что Мурнау назвал «меланхолическим рассветом». Это означает, что надо снимать в тот момент, когда занимается заря, появляется солнце, все становится прекрасным, потому что светлеет очень быстро. Потом камеру оставляют на том же самом месте и снимают в момент наступления сумерек. При наложении кадров все становится более печальным. Если есть дерево или стена, любой объект – он становится темным, хотя солнце встает. Это двойной эффект. В данном фильме мы не смогли этого сделать, это пригодится для другого фильма, но желание сделать нечто подобное было постоянным, и исходило оно из желания показать пейзаж во всем, что есть в нем странного. Другие же визуальные отсылки, если они вообще есть – это художник Фридрих.

«Positif». [...] *Вы часто говорите, что именно короткометражные фильмы позволили вам сделать ту или иную вещь. Что такое короткометражка для вас? Пробный шар или возможность поэкспериментировать с разными вещами?*

P.P. И то, и другое. Обычно, сняв полнометражный фильм, я сознаю, что мог бы сказать то же самое за три или пять минут. Тогда я это делаю и экспериментирую, имея в виду другой фильм. Короткометражки – это начало и конец определенной трактовки.

«Positif». *Вы часто говорите, что полнометражные фильмы каждый раз являют собой некий вызов и эксперимент с техникой расположения. В «Трех кроках моряка» это уже не идея фильма, а план идеи...*

Р.Р. По поводу этого фильма один продюсер в шутку сказал мне, что это рекламный ролик, нечто вроде каталога тех вещей, которые я мог бы сделать, если бы кто-то захотел в дальнейшем использовать меня в качестве режиссера. Если вы дадите мне сценарий, я могу сделать ту или иную вещь... Словно вокруг истории существуют альтернативы, которых внутри самой истории на самом деле нет. Думаю, что здесь еще и личная проблема. Поскольку в фильме самым непосредственным и прямым образом представлено изгнание, а это затрагивает меня лично, я старался сохранить дистанцию с помощью искусственных приемов, чтобы не впасть в излишний сентиментализм.

«Positif». *Сентиментализм для вас – это соблазн?*

Р.Р. Да, а разве это не видно?

«Positif». *Еще один личный аспект: море. Ваш отец был моряком.*

Р.Р. Как и мой дед, и мой прадед. Очень долго я не осмеливался снимать фильмы о моряках, портах, кораблях. «Калюш» – это корабль мертвецов. И даже там я не посмел использовать миф. Обратил его в шутку. Обычно корабль мертвецов представляет собой корабль-призрак, и это всегда парусник. А здесь баржа, что, на мой взгляд, забавно. Мой отец посмеялся бы.

«Positif». *Вернемся к чувству, к той дистанции, которую вы хотите установить, к роли риторики относительно чувства, к равновесию между эмоциональностью и формализацией.*

Р.Р. Конечно, с первого взгляда понятно, что в моих фильмах есть игра – игра ума, игра слов. И есть проблема риторики. По-настоящему интересоваться риторикой я стал только в Европе и по причинам вполне практического свойства. Это позволило мне приобщиться к культуре европейских стран. Прежде я встречался лишь со случайными элементами риторики, а не с риторикой как таковой. Если посмотреть на иммигрантов, которые приехали до меня, как Ионеско, мне кажется, что его также интересовало все, что есть ущербного в риторике, ее скрытая бессмыслица, то есть абсурд. Ну, а меня интересовала, прежде всего, сама проблема риторики. Нужно встать на латиноамериканскую точку зрения в отношении газет. Будем исходить из факта, что они всегда лгут, даже когда говорят правду. Вся реальность начинает казаться неправдоподобной, и это именуют риторикой, потому что риторика становится реальностью – в том смысле, что это всего лишь форма, лишенная содержания. С другой стороны, в Европе некоторые риторические формулы соответствуют реальному положению вещей, оставаясь при этом риторическими.

Например, автомобиль – это вещь, которую производят в Европе. Есть связь между производством автомобиля и тем символом роскоши, каким является автомобиль. Это больше не отживший символ, а составной элемент реальности. Следовательно, связь между реальностью и риторикой очень крепка. Вот что приводит в экстаз меня, как и любого латиноамериканца: связь между

символами и реальностью. Много раз мы обсуждали это с другими чилийцами, причем все говорили о латиноамериканской мифологии и ее богатстве.

Наша проблема – прямо противоположная. Это отсутствие веры, своеобразная негативная мифология. В Чили я знал людей, которые не верили в реальность полета на Луну. Они говорили: это выдумка американского империализма. Некоторые отрицают существование китов, хотя их ловят и едят. Есть один остров: его можно увидеть из Вальпараисо перед дождем. Все его видят, он находится вон там, это обычное оптическое явление. Но все называют это мифом, суеверием. Хотя его можно увидеть, а потом обязательно начинается дождь. Эти очевидные вещи, в которые не верят, составляют самую мощную и самую противоречивую мифологию в Чили. На меня, как на любого чилийца, сильнейшее впечатление производит тот факт, что мифы и риторические жесты, даже когда они забавны, даже когда они представляются забавными тем людям, которые их делают, связаны с обыденной жизнью. Думаю, что это не только в Чили. Я помню одну фразу Хорхе Луиса Борхеса об испытанном им шоке, когда он узнал, что хорошо знакомые ему люди, которые были у него частыми гостями, называются «леваками» и многократно описаны в книгах. Открытие этой связи между реальностью и мифом всегда впечатляет.

«Positif». *Почему вы думаете, что эмоциональность, составляющая очень большую часть латиноамериканской культуры (музыка, песня, традиция мелодрамы) должна быть незаметной на экране? В ваших последних фильмах проявляются очень сильные, противоречивые, можно сказать, безудержные чувства. Почему вы думаете, что эмоции следует фильтровать?*

P.P. В число негативных мифов входит убеждение, что эмоций не существует. Это будто бы имитация с целью извлечь какую-то выгоду. В Латинской Америке много говорят о чувстве, но чилийцы в этом смысле не отличаются особой чувствительностью. Они скрывают чувства и пытаются отрицать само их существование. Один из друзей сказал мне: «Чилийцы никогда не влюбляются, потому что стыдятся этого». Если можно говорить о чувстве, то лишь в таком роде. Нам всегда не по себе. Мы раздражительны. Это нечто вроде национальной болезни: на все чувства, включая гнев, мы смотрим косо. Говорят, что склонность к насилию присуща детям или женщинам. В смысле отношения к женщинам это особый континент. В Латинской Америке, действительно, существует мелодрама, но ходят на нее только женщины. Мужчины смотрят тайком. В моем случае это другая сторона проблемы. Показ чувства означает, что не будет его ощущения. Ощутить его можно, если оно показано косвенно, показывать прямо нельзя никогда. Быть может, это не совсем верно, но мне кажется, каждый раз, когда в кино что-нибудь представлено явным образом, это сразу же исчезает. Человек, посмотревший фильм, полагает, что все понял. Одна из самых моих любимых систем в сфере кинематографической эмоции состоит в том, что нужно заставить поверить, будто вещь, которую начинаешь смотреть, банальна и проста. Публика устраивается поуютнее, и внезапно получает нечто прямо противоположное. Некоторые вещи воспринимаются как ляпы, но это было сделано специально. Я получаю огромное наслаждение от фильмов Хичкока, в частности, из-за этого. Он с этим постоянно

играет. В «Птицах» есть персонажи, которые совершенно не реагируют на стаи птиц, захватывающих город.

«Positif». [...] *Вам ведь нравятся каталоги и библиотеки?*

Р.Р. Да. Это одно из чисто латиноамериканских предпочтений, хотя я не знаю, по-прежнему ли это так. Первоначально это объяснялось тем, что было мало книг и их очень берегли, следовательно, читали и учили наизусть. Это была роскошь, по крайней мере, в Чили. Я помню одного своего друга, обладавшего огромным культурным багажом, но багаж этот был приобретен в маленькой деревне, где имелась только одна библиотека с двумя сотнями названий. Мой друг одолел их к одиннадцати годам. С одиннадцати до двадцати, когда он уехал из деревни, ему удалось выучить их наизусть, и вся полнота мира свелась для него к этим двум сотням книг. Он стал образованным человеком именно в этом смысле: его энциклопедизм фактически сократил мир до одной довольно скромной библиотеки. Когда освоишь эти две сотни томов, начинаешь комбинировать, прибегать к ассоциациям, и это создает впечатление гигантского культурного багажа. Хорхе Луис Борхес, несомненно, обладает громадным культурным багажом. Но если внимательно прочесть некоторые из его сочинений, увидишь, что он постоянно цитирует «Испаноамериканский словарь»: четверть его ссылок оттуда, чего он, впрочем, и не скрывает. Я говорю об энциклопедизме, потому что везде в Латинской Америке наблюдается это стремление создавать энциклопедии, везде есть идея Суммы. Рикардо Пальма сделал это в Перу, энциклопедисты Центральной Америки – почти современники французов, они появились в конце XVIII века. Есть также Альфонсо Рейес, Педро Энрикес Урена, а также Лезама Лима, Маседонио Фернандес. Все это люди, которые разделяют одну поэтическую цель: говорить о культуре как о совокупности данных, сохраняемых в библиотеке. Иногда, как в случае с моим другом, маленькой библиотеке. Потом появляется идея сочинить библиотеку – создать энциклопедию. В моем фильме «Никто ничего не сказал» (*Nadie dijo nada*) один эпизод происходит в трех громадных залах, где высяты целые горы книг. И книги эти принадлежат так называемой «Чилийской энциклопедии». Это разного рода сочинения о Чили, написанные для энциклопедии. Для нее делались вещи неслыханные: например, каждому профессору философии заказали статью, в которой следовало изложить свои мысли и убеждения. Там были тысячи различных философских систем, многостраничные каталоги объектов, хоть как-то связанных друг с другом, все извращения любой энциклопедии там наличествовали. Для каждой буквы завели отдел. И между ними было соперничество, устраивались футбольные матчи между буквой Н и буквой М. Потом имеется еще и проблема заучивания: посмотрите, как много есть людей, которые целые страницы запоминают наизусть, что дает ложное впечатление культурного багажа. Впрочем, это своего рода культура, даже если сама суть культуры теряется в стремлении тасовать науки и сведения, устанавливая ассоциативные связи – иногда извращенные, иногда гениальные – между двумя элементами, которые не имеют между собой ничего общего. Именно поэтому во Франции часто говорят о заштампованном мышлении применительно к Латинской Америке: сразу видишь латиноамериканского интеллектуала, который рассуждает о теории относительности и, начав с Сервантеса, заканчивает цитатой из Бретона.

«Positif». *Когда вы цитируете Маседонио Фернандеса, Борхеса, даже Лезаму Лиму, это несколько отличается от изначальной энциклопедии: и дело тут не только в познаниях, здесь сказывается очень сильное игровое начало...*

P.P. Вот именно. Если принять такой латиноамериканский подход к энциклопедии, убеждаешься, что идеи Новалиса...

«Positif». *Но это тоже поэт. Мы здесь думаем скорее о Ларуссе, во Франции авторы энциклопедий не слишком склонны к игре...*

P.P. Игровой аспект рождается из ситуативной аберрации, из ситуативной деформации. Я говорю о «Чилийской энциклопедии», которую хорошо знаю. Или об «Истории Гондураса», в которой было пять глав: они добрались только до греков, даже до Рима не дошли, Европа отсутствовала полностью, но это все равно именовалось «Историей Гондураса». В «Истории Чили» Энсины было тридцать пять томов; еще одна история Чили, написанная в 1885 года Бульнесом, имела около десятка томов, и в каждом – примерно тысяча двести страниц...

«Positif». *Мы чаще встречались во время показа старых, а не новых фильмов.*

P.P. Да, верно, но это случайность.

«Positif». *Но вы, стало быть, пересматриваете некоторые фильмы. Вы говорили о Мурнау...*

P.P. Постоянно. История кинематографа – это не настоящая история, это пародия. Сначала кино было одним, потом изменилось, стало другим, потом опять другим. Фактически, это происходило медленнее. Но возникает впечатление, будто кому-то пришло в голову, что у кино должна быть история, следовательно, время от времени нужно что-то менять, двигаясь в придуманном направлении. Так, долгое время господствовала идея, что надо стремиться ко все большей реальности, и все этому следовали: техники, лаборатории, где создавались новые киноплёнки, режиссеры. Кончилось же это крайним натурализмом. Потом в какой-то момент история кино прекратилась, и мне кажется, что сейчас это становится очевидным для всех. Это означает, что надо делать кино, а не пытаться войти в его историю с какой-нибудь новой идеей, которая что-нибудь добавит к тому понятию, какое имели о кино прежде. Я интересуюсь старыми фильмами, поскольку там есть то, что было слишком поспешно заброшено – некоторые утерянные подходы, технические приемы. Появление новой волны, к примеру, было в этом смысле катастрофическим. Во Франции это привело к потере большинства специалистов, умевших образцовым образом выстроить кадр, хотя зачастую без всякой отдачи, но это, впрочем, уже другая проблема. Кадры выстраивали с таким блеском, что при возврате к этим способам можно было бы делать совершенно разные фильмы. Для этого нужно просто изучить кадры подобного типа, реальные возможные марли, сетки, фильтра. Только благодаря Анри Алекану эти возможности были осознаны, и началось их осмысление как теоретической проблемы. Также у Пенлеве, в научно-документальном кино, можно многое

почерпнуть для художественного фильма. У меня был один проект – не знаю, куда его пристроить, быть может, в следующем году мне удастся выкроить минутку – проект снять растительного «Фауста», с персонажами-растениями. Мой друг-ботаник рассказывал мне истории про растения, которые враждуют между собой, ненавидят и убивают друг друга. И о растениях, совершающих деяния шекспировского размаха, чтобы оградить свои права, привилегии свои и своих детей, предпринимающих соответственные усилия и затевающих войны с целью защитить себя. Поскольку такое случается в основном с травами, действие происходит очень быстро. Я подумал тогда о триллере, о детективе с растениями. Возможно, «Фауст» или, что лучше, «Гулливвер», потому что в физическом облике растений есть нечто фантастическое. Если снимать кадр за кадром, с помощью технических приемов, характерных для научно-документального кино, можно добиться впечатляющих результатов. Я не знаю, как обстоит дело с дисциплиной у таких актеров, как растения, возможно, у них есть склонность вылезать из кадра, потому что камера двигаться не может... Я подумал о «Фаусте», поскольку там имеются появления и исчезновения, чудеса, растения, которые возникают мгновенно, как грибы, в их перемещениях к свету есть нечто дьявольское... Это позволяет играть в чудеса на основе полного натурализма. И еще обыграть некоторые идеи Гете о растениях: это также и Гумбольдт.

«Positif». *Вы упомянули новую французскую волну. Можно вспомнить, что в Латинской Америке новое кино также в некотором роде убило мелодраму и старую комедию...*

P.P. Это верно, но были ли они убиты или уже мертвы? Ведь Глаубер Роша никогда не нападал на народную мелодраму, он боролся скорее с вторжением американских фильмов, которое в то время, впрочем, уже шло на убыль.

«Positif». *Он нападал на народную комедию, которая в Бразилия была равна мелодраме. Для него это был враг номер один...*

P.P. О да! Но как-то раз он мне сказал, что враг номер один – это Фред Астор. Он постоянно менял врагов номер один...

«Positif». *Вы говорили о стереотипах на французском телевидении. Вы сняли фильм об истории Франции, увиденной сквозь призму радиоспектаклей и романов с продолжением. С другой стороны, в «Гипотезе об украденной картине» или в «Трех кронах матроса» можно обнаружить концепцию истории как фигуративного искусства. В свое время вы были очевидцем чилийских событий, вы видели, как зарождалось кино Альенде – кино, пытавшееся показать Историю, которая совершается здесь и сейчас. Что вы думаете об этой проблеме представления Истории?*

P.P. Я предпочел бы обсудить ту проблему, которую мы начали обсуждать: соотношение между фактом культуры и реальностью страны. Картину нельзя сделать безнаказанно, это будет иметь последствия. Тогда как наша концепция культуры исходит из того, что нужно только тратить и что это в любом случае созвучно, если можно так выразиться, природе. Есть одно высказывание о мексиканской

истории, применимое ко всей остальной Латинской Америке: история действует методом отсечения головы, время от времени мы начинаем с нуля. Впрочем, охотно используется и другая фраза: надо все забыть, начнем все сначала.

«Positif». *Это сказка про белого бычка...*

P.P. Да, мы возвращаемся в исходную точку. Это часто называют революцией. Настоящая революция состоит в том, что все подвергается сомнению и начинается сначала. Это не означает, будто делают нечто другое, напротив, делают ровно то же самое, что прежде, но иногда с другой целью, иногда с той же самой. Прочитав впервые историю Францию (поскольку фильм сделан по учебникам, это монтаж), я был поражен сходством с историей Чили, история обеих стран начинается одинаково. У вас были галлы, у нас арауканы, эти варвары отличались доблестью – исползуются одни и те же формулировки. Понятно, говоришь себе, чилийцы скопировали историю Франции, и это верно. Но нужно видеть, в какую эпоху. История как литературный жанр в Чили – современница истории как литературного жанра во Франции. Чили изобрели почти одновременно с Францией. Я говорю об изобретении стереотипов французской истории к середине XIX века: выдать центральную власть за главную движущую силу истории – это изобретение Мишле, Виктора Гюго, творцов фикции, которая именуется историей Франции. История Чили начинается параллельно, возможно, на десять-пятнадцать лет позже. Это очень противоречивые явления. Потому что в одном случае это соответствует некоему типу поведения, даже если это было изобретено в качестве литературного жанра, как во Франции. В Чили, напротив, это не соответствует ничему. Именно эти взаимосвязи между культурой и истиной, возможность играть с ними – вот что меня привлекло. Когда смотришь «Гипотезу об украденной картине», видишь сцены, в которых нет ничего особенного, но они едва не вызвали скандал. Естественно, всегда можно сказать, что я думал о других странах, в которых связи между культурой и реальностью столь же тесны, крепки, взаимозависимы, как в социалистических странах, где нарисовать картину означает совершить настоящее преступление, или в католической Церкви, где эта связь существует без видимой причины. Ибо картина, даже в непрочном обществе, не может быть опасной. Я отказываюсь в это верить. Даже допуская, что социалистическое общество, которому угрожают и внешние, и внутренние враги, само по себе настолько слабое, что должно бояться не только любого протеста, но и любого разнообразия. Это необъяснимо, но так происходит. Что касается истории Франции, меня упрекали в том, что я был недостаточно критичен и не показал, как плохо ее преподают, как много в ней лжи, искажений, умолчаний. Но совпадения текстов и стереотипов привели меня в такой экстаз, что это показалось мне ненужным. Достаточно насытить текст визуальными стереотипами, чтобы понять, на каких взаимосвязях он держится. Дети рассказывали легенду, которая основана на реальных фактах. В истории Франции есть восхитительные моменты, созданные для такого рода мизансцен. Например, рыцарь Баярд сражается с двумя сотнями испанцев, защищая мост Гарильяно. В этой мизансцене за недостатком средств мы использовали пятнадцать человек. Было видно, насколько это невозможно в условиях рукопашного боя тех времен. Мизансцена становилась отрицанием того самого текста, который призвана была иллюстрировать и прославлять.

Интервью* журналу «Miroirs du cinéma»

Рауль Руис. Если верно, что поэзия создается не с помощью концепций или идей, но с помощью слов, которые обладают некой силой, то можно сказать, что кино создается с помощью жестов и объектов, пространственных игр, возникающих благодаря соединению этих двух понятий. В таком ракурсе религии представляют собой механизмы, придающие ценность объектам и функционирующие посредством жестов. Только это и интересует меня в религиях, потому что я не принадлежу к числу верующих. Все религии, исповедуемые на Западе, интегрировали проекты, призванные изменить мир, и равным образом движения различных политических партий изобрели концептуальные механизмы, которые получили название «идеологии» и были также предназначены для преобразования мира. Использование религии означало, стало быть, метафору для осуществления транспозиции в какое-то другое место – которое, впрочем, никому не принадлежит, поскольку сегодня гораздо меньше верующих и исполняющих обряды, – и это место представлялось мне некой *ничейной землей*, где можно было показать, что такое идеологический механизм, в чем может он принадлежать любой тенденции и как функционировал бы самостоятельно. Применительно к разрыву, который произошел между религией и верой, я воспользуюсь выражением Честертона: «С тех пор, как люди перестали верить в Бога, они верят любым бредням». Объектов больше нет, но функция веры продолжает существовать. И более всего поражает то, что этот механизм всегда был содержанием сам по себе. Именно это заинтересовало меня в новелле Кафки «Исправительная колония», где обыгрывается двусмысленность механизма одновременно «холостого» и ни с кем не связанного. Механизм используют так же, как он использует нас. Современное искусство в значительной части порождено этим взаимодействием механизма и того, кем манипулируют: можно было бы сказать – механизма и его штуковины. В «Исправительной колонии» закон, написанный на теле персонажа, не исходит из какой-то высшей инстанции – это всего лишь закон, принятый человеческими существами и вступивший в силу благодаря изощренным системам медиации.

Но я никогда не верил в объективное существование человеческого тела. Как любой добрый чилиец, я верю, что тело – это мусорный бак, к которому прикрепили голову. Это мешок с нечистотами. Я очень уважаю нечистоты. Я воображаю вымышленную систему вселенной, называемой «телом», как ряд объектов или кусков говядины, которые и являют собой тела наших предков (и наши тела тоже). «Протопластический Адам» каббалиста Лурии – персонаж, долго меня завлекавший, – воплощает представление о мире как о гигантском человеческом теле, внутри которого живут люди. Или же крохотное тело Гулливера – развлечения такого рода, связанные с изменением масштаба, всегда приводили меня в экстаз. Но каждое отдельное тело в его садомазохистских взаимоотношениях сразу

* *Propos recueillis par Jacinto Lageira, Parachute, N° 67, 1992 [Записал Хасинто Лажейра, N° 67, 1992]*

заставляет меня подумать... о тропических фруктах. И, следовательно, об импорте/экспорте, следовательно, о колониализме, экономике, потреблении тел. В июле этого года я устрою в Научном городке Ла Вийетт (Париж) четыре инсталляции с птицами и фруктами, интерпретирующие воображаемое «ультрамарино», воображаемое заморское, воображаемое странствий, привозных продуктов, магазинов, где торгуют экзотическими товарами. Я сам стараюсь получить эмоциональное впечатление от вкусов и запахов, принадлежащих другим культурам и другим регионам мира. Это понятие импорт/экспорт гораздо ближе к идеям Фернана Броделя, нежели Маркса. Я собираюсь показать радость и страдание импорта/экспорта в его экономическом и воображаемом аспектах, поскольку все связано с вещами конкретными, которые можно есть, нюхать, осязать, это вещи, которые тело может усвоить. На самом деле, слово «тело» меня смущает. Быть может, потому что в нем всего два слога. В фильме «Реальное присутствие» персонажи во время ужина заболевают чумой, на их телах появляются бубоны, и один из них начинать читать наизусть басню Лафонтена «Зачумленные животные». Это также аллюзия на идеи Арто: «вопл», крики, которые не слышны. Для меня же это всего лишь вопрос облачения. Речь идет о том, чтобы одеть объекты, тела, но не перемещать их. Тела, которые скорее похожи на куски испорченного мяса или на комиксы. В конечном счете, это всего лишь шутка. Но я отношусь к шуткам очень серьезно.

У меня, кстати, имеется одна космологическая теория о существовании мира: я полагаю, что мир был создан как шутка, и с этой точки зрения нет ничего серьезнее шуток. Каждый раз, когда рождается какая-нибудь убийственная теория, она является как шутка, чтобы, в конце концов, превратиться в осязаемую реальность.словно в шутку, кто-то говорит «Бог существует», люди начинают верить в его существование, затем возникает религия, вот тут-то все и начинается. А кто-нибудь другой заявляет, что «мы все равны», изобретается нечто очень красивое, именуемое «коммунизмом»; мало-помалу шутка становится все более серьезной, она разрастается..., и механизм уже функционирует сам по себе. Идея, что исток любого явления заключен в шутке, меня не слишком веселит. И не надо воспринимать это как некое надувательство, которое предполагает, что вещь обретает большую ценность за счет другой. Есть хороший рецепт, пригодный для большинства случаев: каждый раз, когда нечто появляется как шутка, это серьезно, и наоборот. В моем фильме «Лживые глаза» чудо, которое в действительности противостоит религии, воспринимается как шутка. Чудо всегда шутка: Бог создал законы природы, считается, что он сам – часть ее, а потом происходят чудеса, словно Бог занимается «корректировкой стрельбы», чтобы исправить положение дел, когда люди, эти творцы свободы, ошибаются и заблуждаются. Наконец, шутки, подобно логике, находятся «вне мира»: можно заниматься логикой, не обращая внимания на вещный мир, однако нельзя заниматься логикой, не прибегая к шуткам. Все эти соображение, наверное, не имеют значения для обыденной жизни, но в моих фильмах это часто действует.

Кино – это механическое зеркало, обладающее памятью. Это зеркало разновременное, его темпальность и точка зрения постоянно меняются, но его Нарцисс остается неизменным. Просто поражаешься, сколько есть способов войти

в это зеркало, включающее в себя другие зеркала, в котором можно путешествовать и делать массу других вещей! Мы будем всегда *ограничены* этим ограниченным кривым зеркалом – этим кино, способным отравить зрителя, заразить его своей узостью. Все рассуждают о концепции кино как искусства трансфигурации и фотогеничности, но в нем есть также упрощение, а способ, каким кино упрощает вещи, делает их плоскими, поражает гораздо больше, чем способ превознести их. Аспект фотогеничности менее интересен, чем аспект преступности: через свои механизмы кино убивает все, к чему прикасается, показывает все на одном плане, на одной линии, как в «теории». Кино – это уплощение реального мира. Поначалу приходишь в экстаз от его способности осознать это, однако очень быстро убеждаешься, что это уплощение трагично. Я не часто получаю удовлетворение от сделанных мною фильмов, но всегда прихожу в экстаз от зрелища, которое мне предлагает кино, от его способности уничтожить все, показывая одновременно несколько состояний дежавю во всех его разновидностях.

Многие мыслители, начиная, по крайней мере, с Бергсона, утверждали, что кино принимает в расчет длительность, энтропию, работу смерти, смену времен. Но верно ли это? Столько длительностей сосуществуют внутри одного кинематографического кадра, что очень трудно осознать, как они аннигилируются, уничтожают друг друга, становятся хищными. В некоторых моих фильмах, кстати, значение имеет тема времени не текущего, но прошедшего, поэтому уплощение совершается не в том, что предстает настоящим, а в том, что уже произошло; можно смотреть на вещи и под таким углом зрения. Иногда пытаешься найти, посредством различных отступлений в прошлое, недостающие вещи, и тогда это другая игра – игра с неполнотой. Если в коллекции картин есть недостающий элемент («Гипотеза об украденной картине»), это неполнота. Само кино, по определению, неполно. Делаешь дубль и говоришь «режьте!», в действительности фильм должен был бы продолжаться бесконечно..., но нет! Переделываешь другой план и говоришь «режьте!»; вот тут-то и сцепляешь намертво два разных живых объекта, которые, между тем, продолжали свою жизнь. Понять такой «ляп» довольно просто при монтаже: достаточно дать дублю продлиться чуть больше, чем обычно, и зрители спрашивают, что происходит, почему это не отрезано; в этот момент мы отрезаем и сразу чувствуем, что это должно было бы продлиться еще немного. Если снять целый фильм с подобными планами, можно увидеть необычное и странное во всем их объеме. Профессора из киношкол станут тупо повторять, что фильм плохо смонтирован, ведь они полагают, что у каждого кадра есть «точка падения», которая дает возможность отрезать в определенном месте и переходить к другому кадру. Но именно эту точку падения и следует сохранять, поскольку она питает хищников. Она позволяет осознать ту множественность кинематографических длительностей, которой можно воспользоваться. Мыслители, рассуждавшие о длительности в кино, настойчиво поднимают эту проблему, но заметно, что они никогда не держали в руках пленку и не ведают, что целлулоидный кадр сделан из лошадиных костей.

С другой стороны, я убежден, что все уже было снято в снах наших предков задолго до изобретения кино. Сейчас я читаю роман Мишеля Жюве «Замок сновидений» и вижу, что отчасти продолжаю его линию. Он развивает гипотезу о том,

что сон – это мир, отличный от пробуждения, и его функция – управлять переходом из одного мира в другой. Как сказал бы Сведенборг, управление это осуществляется с помощью соответствий и трансформаций. У сна имеются эпизоды и архетипические формы монтажа, существовавшие до эры кино. Например, такая форма: крупный план/направление взгляда/объект, увиденный человеком, который смотрит/реакция этого человека проявляется во сне, до кинематографического кадра. Это восхитительная неполнота, присущая сновидению и кино. Уже давно различают кино/сон и кино/память. Но в случае кино/памяти речь идет о зеркале, обладающем способностью вспоминать; в системе сна кино как раз разбивает зеркало. И все же мы ищем один кадр. Что до меня, то я склоняюсь, скорее, к сочетанию обеих систем: мне кажется, что кино функционирует как память сна и как зеркало событий, которые изображаются достаточно странными для того, чтобы оторвать их от механистической жизни, от зрелища, и придать им функцию соответствия – здесь я вновь использую выражения Сведенборга.

Меня очень интересуют классические функции мозга: ощущение, восприятие, память, воображение, сознание. В кино такими проблемами уже давно перестали заниматься, говорят все больше о «публике» и о «точном попадании». Снова эти хищники! Знать, что делается в кино – вот вопрос, которым почти никто не задается. Что касается меня, я размышляю скорее о вещах, оторванных от кино как классической дисциплины, и когда я работаю над какой-нибудь концепцией, сам не знаю, будет ли это пьеса, фильм, текст, инсталляция или государственный переворот (пусть хоть удар молнии). Это любопытно, ведь сейчас очень популярны теории об искусствах чистых и нечистых, причем кино попадает в категорию нечистых – следовательно, не считается подлинным искусством. А вот живопись, напротив, принадлежит к чистым (см. Сюзанну Лангер). Даже кино, некогда сумевшее, невзирая на свою нечистоту, найти собственную специфику, все больше и больше отрывается от самого себя и включается в игру, где сосуществуют прочие искусства, которые также становятся нечистыми – лишены объекта, плоти, тела, даже нечистот! И сам человек становится чем-то неустойчивым. Например, виртуальные образы – это имитации или сигналы мозговой деятельности, и в этих образах нет ничего соблазнительного.

Экономический дискурс представляет собой еще одну иллюстрацию этого отрыва: все работают с графиками, тенденциями, векторами, алгоритмами. Между тем, экономика создавала теорию денег, циркулирующих с целью покупки соблазнительных вещей. Но пока этого отрыва не происходит в экономике – которую всегда считали большой кокеткой, верящей только фактам, – в искусстве это уже произошло. В настоящее время я пытаюсь сделать фильм о мифологии денег. У меня уже есть идеи... и договор! У меня есть деньги, чтобы снять кое-что о деньгах!

В некоторых течениях современной науки – в частности, в математике и, более конкретно, в теории игр Джона Конвея – намечилась тенденция входить в конкретику самого научного объекта. Это огромные абстрактные существа, которые могут становиться лицами и конкретными телами. «Игры жизни» Конвея – всего лишь компьютерная анимация игры с точками: если сближаешься с одной точкой – умираешь, с двумя точками – сопротивляешься, с тремя – создаешь

новую точку, некоторые фигуры воспроизводят сами себя, другие смыкаются в кольцо, третьи умирают или становятся вечными. Иногда это очень большие фигуры с широкой амплитудой движения. Но в данном случае концепты не менее сложны, хотя наука всегда стремилась свести совокупность явлений к некоей формуле, синтезировать их в более простые элементы. Мы же видим науку, для которой концепты являются объектами изучения. Объект и символизация объекта – это одно и то же. В подобной теории речь идет о крайностях, когда формулировка есть всего лишь разъяснение правил самой игры. Игра не разъясняется: имеются правила, и по ним следует играть. Каждый изобретает правила по собственной воле. Информатика сделала возможным появление «суждений», в которых абстрактные объекты обретают такую же консистенцию, как у мультипликационных персонажей в кино. И круг замыкается.

Что до меня, то я работаю над моделями, где разыгрывается несколько игр: это «четверные» или «пятерные» игры, которые обретают индивидуальность в играх с другими индивидуумами, разыгрывающими столько же или меньше игр, и эти объединения индивидуумов представляют собой набор игральные костей с различным количеством граней. Это нечто вроде бродячего стада, пасущегося на бесконечной равнине, где с одной стороны находится стена с дырой, и это не что иное как нулевое число, в котором две функции числа разделены. Иными словами, одна из них имеет «эффект остановки» (... 3, 2, 1, 0), а другая – «эффект зеркала» (... 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3...). Короче говоря, все эти стада, словно странствующие зоны, заменяют концепцию точек, что предвидел уже Уайтхед, который в своей книге «Процесс и реальность» предложил заменить концепцию «точки» концепцией «региона». Почему бы не представить тогда игру в виде странствующих регионов, внутри которых было бы определенное или неопределенное количество костей с определенным или неопределенным количеством граней, причем внутри каждой кости были бы другие кости в определенном или неопределенном количестве, но имеющие каждая свою тенденцию, например, тенденцию стремиться к нулю, иными словами, кости... фальшивые, а внутри этих фальшивых костей еще и «тенденциозная пыль», приводящая к «переменчивому» действию. В придуманных программистами механизмах «машина Тьюринга» отставлена в сторону, там работают без памяти или же с объектами, которые сами являются памятью механизма, но это объекты действующие и функционирующие посредством симпатии, посредством любви. Любви, осмысляемой в музыкальном плане, имеющей ряд серий, которые согласуются или не согласуются. Следовательно, эти механизмы служат для того, чтобы играть полифонические системы – прекрасные, но совсем не обязательно полезные. Это может показаться трагичным, но если представить эти механизмы в качестве переходных, то все не так уж серьезно.

Перевод Елены Мурашкинцевой